

Librarium

Омар Хайям

Мудрость бытия

«РИПОЛ Классик»

УДК 82-1
ББК 84(5)4-5

Хайям О.

Мудрость бытия / О. Хайям — «РИПОЛ Классик»,
— (Librarium)

ISBN 978-5-38-613959-9

Эта книга уникальна прежде всего принципиально новым взглядом на поэзию Омара Хайяма. В ней развенчивается привычный образ поэта, сложившийся в Европе за полтора столетия, и читателю предлагается открыть Хайяма заново. Уникальна она и другим: никто никогда не переводил его стихи в таком объеме. А также третьим: осуществлением давней мечты востоковедов расшифровать тайное философское учение Хайяма по его четверостишиям. Игорь Андреевич Голубев, поэт, прозаик, переводчик с фарси, посвятил работе над этой книгой более 36 лет... В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 82-1
ББК 84(5)4-5

ISBN 978-5-38-613959-9

© Хайям О.
© РИПОЛ Классик

Содержание

Тайнопись Омара Хайяма	6
Немного истории	7
А был ли поэт Хайям?	11
Чужие четверостишия в рубайятах Хайяма	13
Много ли стихов написал Хайям?	14
«Нектар Милосердия»	17
О разночтениях	18
«Ответы»	19
Богохульный богомолец или святой развратник?	20
Поэт-суфий?	22
Если не суфий, то кто?	25
Три ступени	26
Множественность вселенных	29
Обветшавший небосвод	31
В прекрасном мире иллюзий	33
Душа и Сердце	35
В сетях добра и зла	37
Как попасть в рай	38
Что Всевышний натворил с человечеством?	39
Так что же Творец натворил?	40
Человек, помоги себе сам	41
Под маской чужого слова	45
Причуды фарса	48
Будь весел!	49
Не только тайным языком	51
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Омар Хайям

Рубаи. Полное собрание

© Голубев И. А., перевод на русский язык, вступительная статья, комментарии, наследники, 2016

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017

Тайнопись Омара Хайяма (размышления переводчика)

Омар Хайям... Универсальный гений такого же масштаба, как Леонардо да Винчи, и родившийся так же несвоевременно. Ему в истории повезло еще меньше. Ни одно из его важнейших научных открытий не было понято современниками, потому и не сыграло никакой роли в общечеловеческом прогрессе. Построенная им величайшая в мире обсерватория была закрыта еще при его жизни. Разработанный им точнейший календарь был вскоре вновь заменен традиционным. Написанные им стихи соответствовали мышлению совершенно другой (нашей) эпохи, а потому не пользовались популярностью и уцелели благодаря буквально нескольким почитателям с «извращенным» вкусом, чудом находившимся в каждом столетии. Творчеству Баха пришлось сто лет ждать признания... Творчеству Хайяма – семь с половиной столетий.

Немного истории

Более 140 лет назад на литературном небосклоне Европы вспыхнула неожиданная звезда. Стихи чужеземного поэта, о котором на Западе никто и не слышал, кроме редких специалистов, преодолели толщу многих веков и заговорили на чужом языке, засверкали среди чуждой им культуры. Английский поэт-переводчик Эдвард Фитцджеральд, говоря языком тогдашних репортеров, в одно прекрасное утро проснулся знаменитым.

Его «Рубайят Омара Хайяма»¹ был вольным переводом. Пристрастный отбор четверостиший, произвольное толкование их, для связности сюжета собственные стихотворные вставки – все это позволило ему из сотни рубаи (самостоятельных стихотворений, по 4 строки в каждом) создать связную поэму. Задумчиво пирующий герой поэмы и диковинная обстановка вокруг него прекрасно соответствовали сказкам «Тысячи и одной ночи», уже любимым англичанам. Блистательная поэма Фитцджеральда издается в англоязычном мире по сей день. Более того, в других европейских странах слава Хайяма начиналась переводами не с фарси, а с английского – переводами этой самой поэмы. Каким-то чудом Фитцджеральд сохранил загадочность Хайяма, дал ощутить глубину его духа. Читатель чувствует: загадка – та, мировая, неразрешимая, которая встает перед каждым из нас; а Хайям ее решил. Глубина – та, что отпускает всех нас; а Хайям высветил ее до дна. И хотя Фитцджеральд создал Хайяму репутацию трагичного весельчака и пьянчуги, якобы призывавшего «ловить миг» и не думать о будущем, хотя эту нечаянную клевету поневоле подхватили переводчики его поэмы на другие языки, хотя такое представление о Хайяме стало считаться само собой разумеющимся, – но картинами ли бесшабашного застолья так привлекает нас древний поэт? Очевидно, что прежде всего – одним неистребимым ощущением: он разгадал некую великую тайну, он сообщает нам ее разгадку, мы силится его понять, перечитываем, подходим совсем близко – и не понимаем.

Кто же он был такой, Гияс ад-Дин Абу-ль-Фатх Омар ибн Ибрахим Хайям Нишапури? Ответ европейским читателям прояснялся медленно, десятилетиями. Жил в XI–XII веках. О первой половине его жизни не известно ничего, о последних годах – очень мало. Поэт, математик, философ, астролог, астроном, царедворец. Ему покровительствовали сельджукские власти Ирана Альп Арслан и его сын Мелик-шах, его поддерживал их знаменитый визирь, ценитель наук и искусств Низам аль-Мульк (1017–1092)... Сохранились его философские трактаты, написанные столь же великолепным языком, как и работы Платона, но явно лукавые, никак не выдающие его истинных взглядов. Обнаружились и его работы по математике, потрясшие ученых XIX века тем, что он, оказывается, в своих изысканиях лишь на 150 лет отстал от них – опередив свое время, следовательно, на шесть столетий! Известен и вроде бы им написанный трактат «Науруз-намэ» – фейерверк блистательного юмора. И в то же время – ни единого признания в этих текстах, что он действительно писал стихи, ни единого клочка бумаги хоть бы с одним четверостишием, записанным самим Хайямом или кем-нибудь из его друзей. Свидетелями выступают только более поздние поколения, которые охотно коллекционируют крамольные стихи – и в то же время дружно указывают обличительными перстами на Омара Хайяма как на их автора.

Одна из легенд поведала такое. Хайям родился в Хорасане, в деревушке возле Нишапура. Около 1042 года поступил в хорасанское медресе, где сдружился с двумя сверстниками; по предложению Омара они поклялись: тот, кому повезет в жизни, обязан помочь и остальным двум. Повезло Абу-Али Хасану, который стал визирем (канцлером) сельджукского властителя, столь мудрым и удачливым, что заслужил прозвище-титул «регулятора державы» (Низам аль-Мульк). Товарищи напомнили ему о себе, и он сдержал юношескую клятву. Омар ограничился

¹ *Fitzgerald E. Rubaiyat of Omar Khayyam. (Фитцджеральд Э. Рубайят Омара Хайяма.) Лондон, 1859.*

тем, что попросил в свое распоряжение налог со своей родной деревни, дабы там, «под родной кровлей, вдали от превратностей шумного света, мирно заниматься поэзией, которая восхищает мою душу, и предаваться созерцанию Творца, к чему склонен мой ум».

Третий же из них, честолюбивый и завистливый Хасан Саббах, стал интриговать против своего покровителя, мечтая занять его место. Многоопытный Низам аль-Мульк превзошел его во встречных интригах, и Саббах был изгнан из дворца. А дальше – уже не только легенда, но и исторический факт: он поскакал по сопредельным странам, в Сирии познакомился с учением воинственных исмаилитов и перенес его в Иран, где стал объединять недовольных правлением Сельджуков. Один из людей Саббаха зарезал по его приказу спящего Низам аль-Мулька. Через месяц умер, вероятно был отравлен, Мелик-шах... Саббах со своей сектой наводнил страну ужасом и убийствами, он успешно противостоял даже войскам султана Санджара, взошедшего на престол после Мелик-шаха...²

Но можно ли доверять легендам?.. Век назад годом рождения Хайяма считался 1017/18 год (соответственно этой легенде – как ровесника Низам аль-Мулька); позже указывался 1040 год. По сохранившемуся в пересказе тексту, который считается гороскопом Хайяма, индийский ученый Свами Говинда Тиртха вычислил, будто Хайям родился 18 мая 1048 года³, и сейчас принято считать эту дату почти достоверной. Та же неопределенность и с годом его смерти. Называют то 1121-й, то 1123-й, то 1131 год: *«В сообщении о Хайяме в „Доме Радости“ Табризи имеется следующее неполное предложение: „...в четверг 12 мухаррама 555 года в деревушке одной из волостей округа Фирузгонд близ Астрабада“. Индийский исследователь Говинди высказал предположение, что в этом предложении Табризи перед словами „в четверг“ недостает слов „он умер“ или другого выражения с тем же значением. Советские ученые определили, что 12 мухаррама пришлось на 4 декабря 1131 года. Именно эту дату следует считать наиболее вероятной датой смерти Хайяма»*⁴.

Однако обратим внимание: Саббах, родившийся в 1054/55 году, никак не мог быть соучеником Абу-Али Хасана, да и Хайям отнюдь не удалился в родную деревню, а стал придворным астрологом, строителем обсерватории и даже занял официальную и весьма почетную должность друга-наперсника шаха. Следовательно, уже ко времени Рашидиддина жизнь Хайяма обросла фантастическими легендами; очевидно, что ко времени Табризи, еще полтора века спустя, тем более. Не случайно к анекдотам о Хайяме, приводимым Табризи, исследователи относятся с большим недоверием. Так что рискованно доверять этой отрывочной фразе и считать год смерти Хайяма достоверно установленным.

Что же касается 1048 года рождения... Гороскоп этот нам известен по пересказу Бейхаки (1106–1174), который мальчиком был представлен старцу Хайяму в 1113 году, а на закате своей жизни написал воспоминания. Гороскоп был найден в бумагах поэта после его смерти, но было ли там прямо сказано, что это гороскоп самого Хайяма, – неизвестно. С другой стороны, тот же Бейхаки утверждает, что Хайям был учеником Ибн Сины (980—1037). Может, это надо понимать как заочное ученичество, по книгам покойного ученого?..

Но вот свидетельство самого Хайяма. В «Трактате о бытии и долженствовании», касаясь одного сложного философского вопроса, он пишет: *«Я и мой учитель... Ибн Сина... обратили внимание на этот вопрос, и, быть может, нами это обсуждение доведено до удовлетворения наших душ, удовлетворяющихся недостаточным при приукрашенной наружности»*⁵.

Обратите внимание: «наше обсуждение». Как же тут исключить живое общение автора с Ибн Синой? И еще: вот если бы он сказал, что считает мнение Учителя совершенным и при-

² Легенда записана в хронике «Собрание летописей» историка Фазлулло Рашидиддина (1247–1318). Ее подробный пересказ см. в статье: Болотников А. Омар Хайям // Восток. М.; Л., 1935. Сб. 2.

³ Swami Govinda Tirtha (Datar). The nectar of grace. Omar Khayyam's, life and works. Allahabad, 1941. P. 34.

⁴ Султанов Ш., Султанов К. Омар Хайям (сер. «Жизнь замечательных людей»). М., 1987. С. 310.

⁵ Омар Хайям. Трактаты / Пер. Б. А. Розенфельда. М., 1961. С. 156.

соединяется к нему!.. Но здесь любопытное признание: наши выводы показались нам самим настолько интересными, что мы этим удовлетворились, хотя скорей всего красивыми словами ввели себя в заблуждение.

Чтобы учиться у Ибн Сины, к 1037 году Хайяму следовало быть по крайней мере 18-летним, т. е. родиться не позже 1019 года.

И наконец, легенды – всего лишь легенды, но все они тянут в одну сторону. Например, утверждение, что прожил он 104 года. По свидетельствам, в 1113 году он был еще жив, к 1132 году уже умер. Следовательно, родился он между 1009 и 1028 годами. Вспомним и легенду о детской клятве. Если она хотя бы на треть правдива, тогда Хайям – ровесник Низам аль-Мулька. Далее. Табризи в «Тараб-ханэ» («Дом Радости») сообщает о переписке, в том числе об обмене четверостишиями, между Хайямом и Абу-Саидом Мейхени. Хотя это тоже легенда, она подкрепляется «документами» – цитируемыми стихами. Абу-Саид умер в 1048 году. Этой легенде также найдется оправдание, только если допустить, что Хайям родился хотя бы на 25 лет раньше.

Есть и другие доводы против 1048 года рождения. Так, Хайям был бы чересчур молод, чтобы в 1074 году числиться среди «лучших астрономов века», приглашенных Мелик-шахом для реформы календаря, и чтобы в 1080 году имам и судья провинции Фарс вызывал его на философский диспут, титулуя «царем философов Запада и Востока».

Так что трудно согласиться с такой датировкой. Возможно, это был чужой гороскоп, сохранившийся в бумагах профессионального астролога... Отбросив его как единственное противоречие, мы легко согласуем все остальные свидетельства и легенды, предположив годы жизни Хайяма примерно такими: **1017–1121**.

Впрочем, «единственное противоречие»? Нет. По мемуарам Низами Арузи Самарканди (1110–1155), лично знававшего его, Хайям умер все-таки в 1131 году⁶. Но и здесь уверенности нет: сдвиг на 10 лет позволяет допустить ошибку при чтении полустертого текста: «я посетил могилу умершего 4 года назад...» – однако могло быть и «14 лет назад», стерлась цифра.

(Интересно, конечно, чей гороскоп, если не свой, мог хранить Хайям? Предлагаю вам свою поэтическую версию: это гороскоп той женщины, трагическая любовь к которой описана в его лирических стихах. Если ей было под 30, а ему под 60 лет, сходятся буквально все детали!..)

Хайям был ученым, намного обогнавшим свое время. Однако судьба его научных работ оказалась печальной. Современники и последующие поколения поняли и восприняли только то, что соответствовало их уровню знаний: полезный для ювелиров трактат «Весы мудрости» – о способе определения цены золотых вещей, усыпанных драгоценными камнями, не вынимая камней, и «Необходимое о местах» – о четырех временах года и причинах различия климата в разных областях и земных поясах (мы этой работы уже не знаем). В народной памяти он сохранился как ученый-мудрец, персонаж нескольких фольклорных анекдотов. По совершенно другой линии шла память о нем как о поэте – среди немногих почитателей его слишком специфического, очень невесточного по духу своему таланта. Хайям никогда не числился среди великих персидских поэтов – пока Европа не восхитилась его поэтическим гением. Только тогда спохватились и в самом Иране...

Но мы отвлеклись.

Есть основания верить позднейшим хроникам, что Хайяму действительно покровительствовали Мелик-шах и Низам аль-Мулька и 18-летний период его жизни в Исфагане был счастливым и творчески плодотворным. Но после 1092 года, после убийства Низам аль-Мулька и смерти Мелик-шаха, когда началась междоусобица, когда вспыхнул резней и погромами религиозный фанатизм, преследуемый врагами Хайям даже совершил паломничество в Мекку,

⁶ An-Nizami al-Arudi as-Samarkandi. Chahar maqala. L., 1927. P. 71–73.

чтобы доказать приверженность исламу (впрочем, врагов это мало убедило), а по возвращении стал преподавать в Багдаде, в академии Низамийе, ведя жизнь суровую и замкнутую. Лишь много позже, после более чем 25 лет гонений, когда к власти пришел сын Низам аль-Мулька, Омар Хайям якобы вернулся в Хорасан, в родной Нишапур, где и провел последние годы жизни в почете и уважении⁷.

Собственно, если говорить о датировках, из достойных доверия документов мы можем почерпнуть очень мало, а именно: в 1074/75 году Хайям приглашен султаном Малик-шахом для строительства обсерватории; в 1079-м – он еще находится в Исфагане; в 1113-м – он еще жив; в 1132-м – его в живых уже нет. Вот и все!

Для читателя проблематично даже только определение основных вех его жизни. Исследователям стихов Хайяма еще труднее: на разрешение первого же вопроса, лежащего на поверхности, ушли многие десятилетия, а просвета не видно. Вот он, вопрос, породивший бесконечные споры: как найти четверостишие, заведомо сочиненное именно Хайямом?

⁷ Подробно познакомиться с эпохой Хайяма, с людьми, окружавшими его, с научными, религиозными и политическими проблемами его времени, а заодно и с современными взглядами на Хайяма как поэта и философа (которые во многом представляются мне спорными) можно по уже упомянутой книге из серии ЖЗЛ.

А был ли поэт Хайям?

Лишь одно-единственное четверостишие Хайяма обнаружено в книге, созданной при его жизни («Кабус-намэ», 1083).

Другие единичные цитирования его стихов попадают в рукописях, созданных уже через десятки лет после его смерти (нередко сочиненных богословами, осуждавшими Хайяма и приводившими образцы его крамолы). Где ж тут гарантировать их достоверность? Уже второе из них (в рукописи «Калила Дамна», 1145) – весьма сомнительное. Самые древние сводные списки его стихов (рубайяты), дошедшие до нас, появились только через 2–3 века после Хайяма, – тем более. Причем они мало совпадают по содержанию между собой. Чтобы выделить «абсолютно достоверное», каждый исследователь предлагал свой принцип, соответственно ему рекомендовал считать достоверными кто 6, кто 12, кто 66 четверостиший, но даже их перечни в этих рекомендациях мало пересекались.

Порою возникает вопрос: а был ли поэт Хайям, не литературная ли это легенда? – если б не звучал в четверостишиях голос яркого и самобытного автора, дерзкого нарушителя традиций тогдашней поэтики, с неповторимым стилем, оригинальной образной манерой и, главное, ни на кого не похожим строем мыслей; если бы – более того – Хайям не остался в фарсизычной литературе непревзойденным мастером рубаи.

Конечно, поэт Хайям был. Мы отчетливо различаем его голос не только, скажем, в авторитетнейшей для европейских специалистов Бодлеанской рукописи (1460), но и в чересчур молодой для них рукописи 1851 года⁸. Однако так уж велика ли, принципиальна разница: 340 или 730 лет после Хайяма? Случайные ошибки накапливаются со временем линейно: если в первом списке, допустим, примерно 2 чужих четверостишия на соню, то в последнем, следовательно, 4–5. Всего лишь. Сознательная фальсификация, если только таковая была, скорей всего имела бы место как раз в те самые первые 340 лет, когда «неудобоваримая» поэзия Хайяма носила для ислама характер острой болезни, не переросла еще в хроническую. Злоумышленник или недобросовестный переписчик мог изуродовать и прижизненный текст, а мы считали бы этот список самым авторитетным, отвергая позднейшие, хотя и более точные. Так что давно пора признать: поиск «абсолютно достоверного» четверостишия Хайяма – безнадежное занятие. Даже найдись таковое, что дальше? Одно рубаи, даже десяток их – это еще не материал для изучения...

Итак, путь снизу бесплоден. Попробуем путь сверху: привлечем в работу не только скудные по объему древнейшие, но и более поздние списки, отбрасывая из них то, что заведомо чужеродно. Будем помнить, что к любому четверостишию нужно относиться настороженно: есть вероятность, что это все-таки другой автор. Однако только так мы сможем набрать достаточный материал, чтобы увидеть поэтическое наследие Хайяма, а не художничьи выдержки из него; и тем более нужен большой набор текстов, дающий простор для анализа и сопоставлений, если мы хотим по разрозненным намекам Хайяма расшифровать его мировоззрение. Такая точка зрения давно повторяется различными востоковедами. Однако никто из них так и не рискнул пожертвовать своей научной репутацией и пойти дальше предположения, что мировоззрение Хайяма – нечто особое и не входит в список традиционных (ортодоксальное мусульманство, суфизм того или иного толка и проч.).

Кстати, сопоставив несколько десятков старинных рубайятов (практически все источники стихов Хайяма, которыми располагает современное хайямоведение), я пришел к выводу,

⁸ Рукопись V.N.S.P. 1458. И эта, и упомянутая далее рукопись с библиотечным индексом – из фондов Парижской Национальной библиотеки, опубликованы в изданиях: 1) *Omar Khajjam*. Rubaij atjanak kisebb keziratai a Parisi bibliotheque Nationale-ban. Szeged, 1933. 2) The principal manuscripts of the ruba'iyat of Umar-i-Khayyam in the bibliotheque Nationale, Paris. V. 1. L., Szeged, 1934.

что следов сознательного включения в них чужих стихов не наблюдается. Были случайные ошибки из-за ветшания рукописей. Когда они рассыпались, отдельные листы (чаще всего из конца рукописи) вставлялись внутрь книги, не на свои места; именно таким образом, не отдельными четверостишиями, а группами по 5–7 рубаи (обычное содержание листа) попадали в рубайяты Хайяма и стихи других авторов. Есть несколько случаев, когда к рубайяту Хайяма был приложен чужой рубайят, потерявший начало и имя автора, и теперь такой сводный текст целиком считается хайямовским. Потом эти ветхие рукописи служили источником для новых списков, как правило выборочных, и картина серьезно запутывалась. Но не безнадежно. С помощью компьютерного анализа мне удалось установить генеалогию почти всех старинных хайямовских рубайятов, а в результате – выловить почти все чужие листы-вставки и проследить движение каждого хайямовского рубаи по рукописям. Гораздо более серьезная проблема – «правка» четверостиший, которой чуть не каждый второй переписчик «облагораживал» наиболее крамольные или «уточнял» подпорченные, на его взгляд, тексты. Поэтому необходимо иметь перед глазами все, какие можно найти, версии каждого хайямовского четверостишия. Чужеродная стилистика в них, как правило, хорошо заметна.

Чужие четверостишия в рубайятах Хайяма

Теперь поговорим уже не о случайно вложенных в рукопись страницах, а об отдельных чужих рубаи.

Их появлению среди хайямовских стихов способствовали главным образом три обстоятельства. Первое. Переписчик иногда записывал на полях одно-два собственных рубаи, сочиненных «под Хайяма». Другой переписчик через столетие думал, что это вставка пропущенного, и переносил эти строки в основной текст. Второе. Между Хайямом и его современниками велась полемика не только в философских трактатах, но и в стихах. Четверостишие-вызов и четверостишие-ответ составляют единый сюжет, хотя и принадлежат разным авторам. Поэтому они совсем не случайно присутствуют в рубайятах Хайяма. Анализ стиля и мыслей позволяет выловить эти чужие вкрапления. И третье. Изредка встречаются списки стихов, явно составленные по памяти. Неудивительно, если при этом попадали туда схожие стихи других авторов. Но сознательных фальсификаций, повторяю, я не обнаружил. Для нас же важно, что полемические выпады, свойственные философскому турниру в стихотворной форме, резко отличаются от остальных стихов и хорошо заметны; а в других случаях вставок тон задают именно собственные хайямовские четверостишия, так что эти вставки не выбиваются из смыслового потока и, следовательно, не могут всерьез запутать нас при исследовании идей Хайяма.

Впрочем, некоторые рукописи могут ввести в заблуждение: например, рукопись V.N.S.P. 1425. Она считается хайямовским рубайятом, поскольку начинается четверостишием с именем Хайяма. Анализ рукописи привел меня к выводу, что она составлялась не как рубайят Хайяма, а как тематическая антология суфийских текстов, без внимания к авторству. Такие случаи, конечно, нужно иметь в виду.

Чтобы понять Хайяма, нет иного пути, как довериться древним и не слишком древним рукописям, собрать все, что приписывается ему, а потом удалить заведомо чуждое. Конечно, при таком подходе нельзя ручаться, что в тексте остались только стихи Хайяма; но разве может гарантировать это любой исследователь, по какому-либо принципу отобравший несколько «абсолютно достоверных» рубаи?

Много ли стихов написал Хайям?

Если забыть о том, что многие стихи Хайяма за девять веков потерялись безвозвратно, то верхнюю границу их общего количества даст суммирование всего, что в наше время приписывается ему.

Все находящиеся в Европе списки в совокупности едва ли насчитывают более 1200 различных четверостиший. Даже фундаментальное исследование Свами Говинда Тиртхи (о котором – дальше) определяет суммарный объем «Хайямиады» в 2200 рубаи (те исследователи, которые называли цифру 5000, попросту добавляли сюда стихи еще трех средневековых поэтов, носивших прозвище «Хайям»). Из этих 2200 можно уверенно вычестить 300 рубаи, относящихся к случаям заведомой состыковки чужих рубайятов с хайямовскими. Полученную величину мы и примем как верхний предел: количество сохранившихся четверостиший, написанных Хайямом, не более 1900.

«В результате тщательных изысканий, проводившихся на протяжении десятилетий крупными филологами восточных и западных стран методами текстологического, историко-литературного, стилистического, стиховедческого анализа, удалось определить группу четверостиший, примерно в четыреста стихотворений, которые с достаточной степенью уверенности можно считать принадлежащими перу Омара Хайяма»⁹.

Некоторые исследователи полагают, что и фактически Хайямом написано едва ли более 400 рубаи. В оправдание такого ограничения приводятся арифметические «обоснования»: из наблюдения, что древнейшие рубайяты обычно содержали не более 300–400 рубаи, именно столько стихов и «позволяют» написать Хайяму. И при этом словно бы не видят, что простое объединение содержимого этих рубайятов по крайней мере удвоит названный объем.

Или так: утверждают границей какой-нибудь год, например 1500-й. Рубайяты Хайяма, переписанные или составленные позже, выбрасывают из рассмотрения; написанные ранее – считают достаточно достоверными (но только при условии, что они сохранились в оригиналах, а не в копиях). Впечатление такое, что авторы подобных ограничений полагают всех собирателей хайямовских стихов, переписчиков и копиистов сплотившимися начиная с 1500 года в цех фальсификаторов. Однако нельзя огульно отвергать ни поздние списки стихов, ни поздние копии древних книг: они могут оказаться очень полезны. Вот пример.

В 1462 году Йар Ахмад ибн Хосейн Рашиди Табризи – мир праху его! – завершил труд по составлению большого свода четверостиший Хайяма и назвал его «Тараб-ханэ» («Дом Радости»). Этим подвижническим трудом он спас для нас по крайней мере сотню четверостиший великого поэта. Но сами-то рукописи Табризи были затеряны. До середины XX века наши отечественные исследователи располагали только копиями двух фрагментов (начального и конечного) и считали, что в том далеком 1462 году Табризи написал две небольшие книги: «Тараб-ханэ» – жизнеописание Хайяма (на самом деле – вступительная статья к собранию хайямовских рубаи) и «Десять разделов» – несколько анекдотов, связанных с его четверостишиями (фактически это «Десятый раздел», завершающая глава). Но вот в 1963 году в Тегеране профессор Джалал ад-Дин Хомайи выпустил книгу – реставрацию «Тараб-ханэ» на основе нескольких достаточно полных копий, найденных им¹⁰. Судя по этому изданию, «Тараб-ханэ» содержит 554 четверостишия (если исключить дублирующие). Такой текст – ровесник Бодлеанской рукописи – мы вправе были бы наравне с нею называть в числе древнейших и авторитетнейших. Но: современное издание? копии?.. Где гарантии, что это близко к исходной книге

⁹ Ворожейкина З. Н. Омар Хайям и хайямовские четверостишия // Омар Хайям. Рубаи. Л., 1986. С. 36.

¹⁰ Омар Хайям. Тарабханейе робайате хакиме Нишапури. Тегеран, 1963.

Табризиде? И действительно ли такая большая книга составлена в 1462 году, а не гораздо позже кем-то – на основе тех двух текстов Табризи?..

Что можно сказать на это? Анализ с помощью компьютера дает иногда прелюбопытные результаты. Так, он позволил мне буквально заглянуть в творческую лабораторию Табризи и увидеть, как тот, десятилетиями пополняя свою коллекцию хайямовских четверостиший, выпустил в свет три версии «Тараб-ханэ». Вторая из них сразу разошлась очень широко и оказала огромное влияние на содержание последующих средневековых списков. (Впрочем, «очень широко» – слишком сильно сказано. Точнее, благодаря нескольким тогда же сделанным копиям она стала известна большинству поклонников Хайяма. Кстати, именно на это время приходится заметное оживление переписчиков и составителей различных сводных текстов Хайяма – не результат ли это пропагандистской деятельности Табризи?)

Третья версия (появившаяся именно в 1462 г.) была, вероятно, «именной» – подарком какому-нибудь вельможе, поэтому ее копировали гораздо реже. Табризи, судя по всему, подходил к своему труду на манер нынешних исследователей: он не доверял современным ему спискам, предпочитая древнейшие. Компьютерный анализ показывает, что в ходе своих поисков старинных хайямовских текстов он однажды обнаружил крупную (в несколько десятков четверостиший) рукопись, которую счел буквально драгоценностью: он целиком вставил ее в свою книгу. Вот так и получилась третья версия, опубликованная Хомаиде.

У самого Табризи ее текст, судя по всему, не сохранился. Позже, через 9 лет, Табризи обнаружил еще один хайямовский рубайят, видимо столь же древний, но в два с лишним раза более объемистый (около 235 рубаид): первая «драгоценность» оказалась всего лишь выпиской из него! Неудивительно, что Табризи вернулся к своему труду и (на базе второй версии) сделал аналогичную вставку. До «товарного» вида эта работа не была доведена: многие дублирующие четверостишия он не заметил и не вычеркнул их из других мест книги. Видимо, не было заказчика. Этот текст (который можно называть четвертой версией «Тараб-ханэ»), лебединая песня Табризи, провалялся где-то сотни лет, никем не замеченный: из него даже, судя по всему, никто никогда не сделал ни одной выписки! Но зато он сохранился в оригинале до наших дней и попал в руки Тиртхиде, который, проводя механический подсчет «подтверждений», забраковал (именно за их уникальность) большинство четверостиший из той вставной (для нас – более чем древнейшей!) рукописи. Однако все виды анализа, кроме оценки «популярности», приводят к одному выводу: эти редчайшие четверостишия имеют не меньше прав считаться хайямовскими, чем самые популярные его рубаиды.

Это исследование подтвердило и достаточную чистоту текста, опубликованного Хомаиде, и привязку его во времени к середине XV века. Для сравнения: поддельная (якобы сверхдревняя) рукопись со стихами Хайяма, опубликованная в Москве в 1959 году, не имеет абсолютно никаких «генетических» привязок ни к одному из древних рубайятов... Замечу кстати, что эта московская публикация спровоцировала появление большого числа стихотворных переводов, упоминать ее придется нередко, и для краткости она будет здесь именоваться «Изданием 1959 года».

Итак, я предполагаю, что из 2200 (или 1900) приписываемых Хайяму четверостиший примерно 1200–1400 сочинены действительно им. Это много или мало? Писал он стихи практически всю жизнь: иногда он упоминает в них свой возраст – то «за тридцать», то «уже за семьдесят». По легендам, сочинял он рубаиды экспромтом, что подтверждается и анализом текстов: многие стихи – мгновенные отклики на мимолетные события, шуточные или язвительные реплики в беседе, даже стихотворные ответы на нелепые вопросы учеников. И если учесть, какую долгую жизнь прожил Хайям, это количество более чем скромное. Одно-два четверостишия в неделю, всего лишь. С другой стороны, высочайшее поэтическое мастерство, присущее ему, могло поддерживаться только постоянной творческой практикой. Арсенал поэта без применения ржавеет. Если бы он действительно сочинил за свою жизнь только 300–400

четверостиший, едва ли они поднялись бы до уровня высочайшей поэзии. Увы, такова проза поэтического труда.

Мною собраны, сопоставлены и внимательно изучены в оригинале более 1300 хайямовских четверостиший (имеется в виду, что уже отброшены все случайные вставки чужих текстов). И что же? Только сотня из них, по моей оценке, сомнительного авторства.

Вопрос о гарантированной принадлежности перу Хайяма хотя бы одного четверостишия, возможно, не будет решен никогда. Однако значит ли это, что мы не вправе попытаться – анализируя именно сотни четверостиший, – исчислить мировоззрение Хайяма? Хотя, конечно, результаты этого исчисления будут по неизбежности гипотетичны.

Неполная достоверность исходного материала заставляла меня делать любой вывод на базе не менее 2–3 четверостиший (хотя в данной статье, для краткости, обычно приводится ссылка лишь на одно из них).

«Нектар Милосердия»

Огромную помощь оказало мне знакомство с итогами работы великого труженика – индийского ученого Свами Говинда Тиртхи, десятилетиями объединявшего хайямовские тексты из различных источников в единую книгу – «Нектар Милосердия».

Он изучил 111 средневековых рукописей и современных изданий со стихами Хайяма (не считая единичных цитирований в древнейших книгах). Исключив дублирующие рукописи и издания, в своей работе он ссылается на 90 источников, содержащих более 30 000 текстов. Всего среди них Тиртха отыскал 2213 (а за вычетом 18 версий – 2195) различных рубаи. Встретившиеся ему лишь по одному разу он назвал «неподтвержденными». Их набралось 853 четверостишия. Конечно, на фоне тех, что встречаются в 40, в 50, а то и в 63 источниках, однократно попадающиеся стихи выглядят подозрительно. Отбросив также некоторую часть стихов, названных им «сомнительными», Тиртха поместил в своей книге тексты 1096 четверостиший. За исключением пяти случаев, к сожалению, он не приводил разночтений, даже основных, в корне меняющих смысл текста, и ограничивался приглянувшейся ему версией, выбирая ее далеко не всегда объективно.

О разночтениях

Очень редко встречается хайямовское четверостишие, текст которого во всех источниках совпадает слово в слово. Иные же рубаи имеют десяток текстуальных версий. Естественный вопрос: какую из них предпочесть? Наши поэты-переводчики, впрочем, с этим вопросом обычно не сталкивались: они работали либо с одной рукописью (Л. Некора, переведивший знаменитую Бодлеанскую рукопись), либо с одной-двумя сводными книгами (О. Румер), либо по русскоязычным подстрочникам (В. Державин, Г. Плисецкий и почти все остальные). Составители же сводных книг обычно имели в виду доказать свою точку зрения на идеологическую позицию Хайяма (якобы он поэт-суфий – так считали французский исследователь Никола и индус Тиртха, или ортодоксальный мусульманин – мнение персидского ученого Фуруги, и т. п.) и отбирали соответствующие версии.

Выбор «наиболее близкой к Хайяму» версии – проблема трудная и скользкая. Разночтения охватывают широкий спектр искажений текста: от замен слов синонимами – до перестановки пар строк; от ошибок, порожденных неразборчивостью переписываемого текста, – до сознательных переделок, смягчающих резкость оригинала. Интересно такое редкое явление, как склейка (обычно парами строк) двух различных рубаи. Таким образом до нас и обломки утраченных четверостиший (см. рубаи № 202 – варианты и комментарий).

Даже когда кто-либо составляет не скромную по объему целевую подборку, а крупный свод четверостиший Хайяма (как в книге Тиртхи), вроде бы неизбежно объективный благодаря большому количеству стихов, обилие разночтений в источниках оставляет богатые возможности для идеологических спекуляций. Признаюсь, я боялся и сам попасть под гипноз собственных пристрастий и потому при отборе основных текстов для этой работы был предельно осторожен. Объективность потребовала поместить в книгу и переводы некоторых других версий: я привожу их, когда трудно предпочесть одно другому, или когда версия знакома читателю по иным поэтическим переводам, или когда вариант имеет принципиально другой смысл. Переводы их выполнены таким образом, чтобы объем разночтений был близок к наблюдаемому в оригиналах (см. раздел «Варианты»).

Нередко стилистический анализ заставлял сомневаться в авторстве Хайяма, а порой и полностью исключать его – даже если четверостишие широко известно у нас именно как хайямовское. Около сотни таких четверостиший дано в «Приложении». Особое место среди них занимают те, которые относятся к жанру «ответов».

«ОТВЕТЫ»

В персидской поэзии широко распространен жанр стихотворения-«ответа». Удачное произведение порождало немало «ответов», авторы которых пытались либо превзойти его в поэтическом мастерстве, либо дать новое толкование мыслям и сюжету оригинала. Создавались «ответы» и на большие поэмы. Так, поэма Низами «Лейли и Меджнун» породила более ста поэм-«ответов», в числе авторов которых – Джамии и Навои.

«Ответы» на произведения малых форм должны воспроизводить форму и ритмику оригинала, его реди́ф и звучание рифмы. На рубаи Хайяма писали «ответы» и современники, и поэты последующих поколений – то в развитие или в опровержение его мыслей, то как пародии.

Про одно из четверостиший, часто попадающееся в рубаи́ях Хайяма, составитель «Тараб-ханэ» утверждает, что это «ответ». Якобы Хайям обратился к Абу-Саиду со стихотворным посланием (см. № 481), на которое Абу-Саид ответил четверостишием, помещенным здесь под № 1299. Что последнее – «ответ» Хайяму, несомненно. Однако это явно «ответ» не на № 481: здесь и формальных совпадений нет, и по содержанию они не стыкуются. Между тем Абу-Саид был настоящим поэтом и не затруднился бы написать безупречный по форме «ответ». Поэтому мне показалось интересным поискать среди четверостиший Хайяма: на которое из них возможен такой «ответ»? И, кажется, посчастливилось найти. Это – четверостишие № 601.

Кстати, в «Примечаниях» приводится еще один «ответ» на № 601.

Похоже, хайямовским стихотворением и чьим-то пародийным «ответом» на него являются рубаи № 717 и 1302.

Видимо, присутствуют в рубаи́ях Хайяма и другие «ответы» ему. Писал «ответы» и он сам. Явно к ним относится четверостишие № 504.

Именно в специфике жанра «ответа» надо искать разгадку четверостишия, которое переводили на русский язык О. Румер: «Пей! Будет много мук, пока твой век не прожит...», В. Державин: «Будь весел! Море бедствий бесконечно...», Г. Плисецкий: «Веселись! Невеселые сходят с ума...» Из них только в переводе В. Державина воспроизведена странность этого рубаи: «Будь весел!» – и дальше, вопреки всякой логике, перечисление в высшей степени невеселых вещей. Недаром другие переводчики переиначивали текст, придавая ему логичность... Секрет, скорей всего, в следующем.

Среди четверостиший, приписываемых Хайяму, есть два таких же по форме, но по стилю заведомо не хайямовские (№ 1304 и 1305) – творения какого-то придворного поэта. В первом – натужная имитация философского оптимизма, а второе – переделка первого под беспардонное восхваление властелина. Смее утверждать, что упомянутое рубаи Хайяма (№ 200) – это звучащий как острая пародия «ответ» на второе из них (причем с более точным, чем авторское, цитированием из первого четверостишия).

Именно пародийностью объясняется это «Ликуй!», ничем иным. Более того, есть у Хайяма и стихотворение, которое отчетливо смотрится как «ответ» (уже серь езный) на первое из приведенных рубаи неизвестного автора – № 201.

Богохульный богомолец или святой развратник?

Ясного отношения ко всему, в том числе к человеку, к жизни и смерти, к морали, к обществу и к Богу, – ждем мы от того, кого называем мудрецом. Но в том и парадокс, что, безусловно ощущая глубокую мудрость Хайяма, в стихах его находим выражения противоположных, в принципе несовместимых позиций. Уместно повторить многожды цитируемые слова члена-корреспондента Петербургской АН В. А. Жуковского, одного из первых в России исследователей поэтического наследия Омара Хайяма: *«Он – вольнодумец, разрушитель веры; он – безбожник и материалист; он – насмешник над мистицизмом и пантеист; он – правверующий мусульманин, точный философ, острый наблюдатель, ученый; он – гуляка, развратник, ханжа и лицемер; он – не просто богохульник, а воплощенное отрицание положительной религии и всякой нравственной веры; он – мягкая натура, преданная скорее созерцанию божественных вещей, чем жизненным наслаждениям... Можно ли в самом деле представить человека, если только он не нравственный урод, в котором могли бы совмещаться и уживаться такая смесь и пестрота убеждений, противоположных склонностей и направлений, высоких доблестей и низменных страстей и колебаний»*¹¹.

Впрочем, наш-то читатель, листая известные стихотворные переводы из Омара Хайяма, едва ли увидит этот клубок противоречий: обычно он имеет дело уже с результатами отбора, ему предоставлено легкое чтение вместо потрясающих свидетельств внутренней душевной борьбы. Не найдет он стихов во славу Аллаха (а такие у Хайяма есть, полные высочайшего экстаза!) и будет думать, что поэт только насмехался над Творцом. Почти не обнаружит призывов к высокой морали и человечности, зато немало позабавится ерничеством, когда Хайям изображает себя (или своего «лирического героя») и пропойцей, и развратником, и мужеложцем. В результате даже наши отечественные исследователи когда-то всерьез писали: один – что Хайям был безусловно атеистом, другой – что корни «мнимых противоречий» Хайяма надо искать не в его творчестве, а прежде всего в пристрастном толковании четверостиший. Но противоречия-то есть, и острейшие. Для примера обратимся – вне толкований – к текстам, где поэт говорит про Бога. Возьмите рубаи № 1 и 2 – какое благоговение перед Творцом! Но вот поодаль от этих вдохновенных гимнов еще более вдохновенное проклятие (№ 536). Можно бы даже предположить, что первые стихи – чьи-то чужие, если б не язык Хайяма, не стиль Хайяма, не его потрясающая поэтическая техника и если бы не – самое главное! – собственный вскрик души:

Неужто б я возвел хулу на Божество!
Здесь не было сердец вернее моего.
Но если даже я дошел до богохульства, —
Нет мусульманина! Нигде! Ни одного!

Вот ключ, расставляющий всё на свои места, открывающий нам не беспринципного автора, растерянно шарахающегося между хулой и хвалой, а человека, прошедшего огромную духовную эволюцию. Теперь мы можем вполне уверенно отнести «хвалу» к началу, а «хулу» к завершению этой эволюции. Но разве вправе мы выбрасывать из рубаи Хайяма первые стихи – только за то, что они не соответствуют его позднейшим (и тем более нашим – на самого Хайяма) взглядам, вычеркивать весь путь его жизни, оставив только последнюю точку? Не говоря уж об уважении к автору, разумно ли так обеднять себя? Вся цепь душевных борений,

¹¹ Жуковский В. А. Омар Хайям и «странствующие» четверостишия // «Ал-Музаффария»: Сб. статей учеников В. Р. Розена. СПб., 1897. С. 320, 325.

дневник поисков и сомнений убеждают читателя в достигнутом выводе гораздо больше, чем голо поданный итог.

Причем не только начало и конец зафиксированы в стихах; весь путь прочерчивается в них, без разрывов: доверчивое благоговение перед Богом, потом осторожные жалобы на тяготы пути, потом просьбы, мольбы, сомнения, наконец – требования; потом внимательный анализ творческой деятельности Бога, ошеломляющие догадки о месте Бога и человека в мире. Хайям раскрывает позорную тайну Творца и перестает Его уважать, и тогда уже звучат издевки, насмешки, откровенные проклятия, порожденные не только эмоцией, но и знанием.

Точно так же получают объяснения и другие «противоречия» Хайяма, надо только приложить некоторый труд: расставить его четверостишия в той последовательности, которая диктуется линией его предполагаемого духовного развития¹², а также естественной эволюцией поэтического стиля. Дополнительными опорными точками служат стихи, прямо или косвенно указывающие на возраст автора.

И в самом деле: даже улавливая мудрость разрозненных афоризмов, трудно понять сокровенный смысл книги, пока все фразы ее перепутаны девятью веками. То самое всеразрушающее время, на которое Хайям так часто сетовал.

Зато в результате пусть даже приблизительной хронологической расстановки мы не только получаем решение «противоречий», но и обнаруживаем вещи, совершенно неожиданные... Впрочем, об этом дальше.

* * *

Позволю себе маленькое лирическое отступление. Когда в 1964 году я начал работу над стихами Хайяма (по тем же подстрочникам из Издания 1959 года, которыми соблазнились многие поэты-переводчики, других источников у меня тогда еще не было), я рассматривал его сквозь призму переводов О. Румера, которыми всегда восхищался, и это продолжалось еще долго, даже когда я приобщился к фарси и обзавелся первоисточниками. Лишь после шести лет ежевечерней работы над оригиналами, когда число переведенных стихами рубаи перевалило за 550, – количество наконец-то перешло в качество, и я почувствовал: Хайям говорит нечто совсем иное, чем получается у меня. В чем же дело?.. Поэтический перевод, разумеется, не может быть полностью адекватным, главное – передать суть, пожертвовав какими-то второстепенными деталями. Таковыми казались мне детали, не работавшие на привычный образ Хайяма. Да и не только я, все наши поэты-переводчики жертвовали именно ими... Внимательный анализ показал, что хайямовские четверостишия двуслойны: они содержат внешнюю оболочку из ярких образов (которые мы и переводим) и суть, спрятанную в тех самых «необязательных» мелких деталях и речевых нюансах (которые мы и отбрасываем, тем более что даже в хорошем подстрочном переводе большинство их пропадает). Когда постепенно обнаружилось, что эти «необязательные» детали различных рубаи складываются в некую цельную конструкцию, стало ясно, что они-то и являются у Хайяма главным содержанием, аккуратно спрятанным в мишурную скорлупу броских сюжетов... И мне пришлось все эти стихи переводить заново.

¹² «Конечно, наивно объяснять „противоречия“ в творчестве Хайяма только „сменой настроений“. Бесспорно, что творчество Хайяма имело свою историю, мировоззрение его сложилось не сразу» (*Морочник С. Б., Розенфельд Б. А.* Омар Хайям – поэт, мыслитель, ученый. Сталинабад, 1957. С. 78).

Поэт-суфий?

Читающие Хайяма в подлиннике никогда не заподозрят в нем атеиста. Гораздо серьезней спор о том, является ли Хайям суфийским поэтом.

В середине VII века Иран, страну древнейших религий, завоевали арабы и навязали персидскому народу элементы своей культуры, свою письменность и свою веру. Но очень скоро персы стали создавать в привнесенных арабских формах стиха неповторимые поэтические шедевры, переиначили письменность так, что она даже зрительно стала отличаться от арабской, а в мусульманстве восприняли не суннитскую, как было принято повсюду, а шиитскую его ветвь, более демократичную, более склонную к образованию различных толков и сект, порой далеко уводящих от ортодоксального мусульманского учения. Кроме того, Иран оставался перекрестком мировых торговых и культурных путей и потому отличался большей, чем арабские страны, веротерпимостью. Во времена Хайяма на его родине продолжали уживаться с мусульманством и древние, исконно персидские звездопоклонничество и огнепоклонничество (зороастризм), а также иудейская вера, христианство и древнеиндийские мистические учения. Так что под рукой был богатый материал для духовных исканий... Веротерпимость, конечно, относительная: случались и вспышки религиозных распрей, и тот же Хайям подвергался гонениям за свои взгляды.

Суфизм, мусульманский мистицизм, возник почти одновременно с исламом на основе строгого аскетизма, призванного приводить к «высшему знанию» – познанию Бога¹³. Идеино-теоретическая основа суфизма многое восприняла, в частности, из мистических верований Индии. В суфийских описаниях структуры мироздания, в рекомендациях по отысканию своего «Я» и его очищению немало того, что мы привыкли связывать с некоторыми индийскими учениями¹⁴.

Для своих последователей, намеренных прийти к «познанию Бога», суфизм разработал цепочку из трех (иногда считается – четырех) этапов: шариат, тарикат и хакикат.

Шариат – это весь комплекс юридических норм, бытовых и религиозных принципов и правил поведения, предписанных мусульманину. Если кто-то и позволяет себе тайком обходить чересчур суровые нормы шариата, то для суфия весь шариат обязателен, всегда и без послаблений (за некоторыми исключениями, о которых позже).

Тарикат – духовная учеба суфия, требующая нескольких лет и проходимая под руководством опытного наставника. Она включает в себя «стоянки» и «состояния», такие как покаяние, терпение, бедность, аскетизм, отречение от собственной воли...

Последняя стадия суфийского совершенствования – хакикат, «Истина». Достигший ее суфий именуется ариф – «познавший»; он, как считается, способен к интуитивному познанию истины. Ученику хакикат кажется недостижимой вершиной, ариф же всегда ощущает себя новичком на беспредельном пути собственного духовного развития, дальнейшие «стоянки» которого он должен намечать уже сам и достигать без чьей-либо помощи¹⁵.

Прибегая к иносказаниям, суфии используют поэзию для создания обладающих мощным эмоциональным воздействием мистических текстов, которые для непосвященного звучат как любовные или гедонические стихи, на деле же полны сокровенного смысла, сжато формулируя

¹³ «Учение суфизма состояло в том, что все проявления живой и мертвой природы являются эманацией (истечением) абсолютной истины, т. е. бога. Человек, являющийся последним творением бога, должен стремиться к слиянию с ним, для чего он должен отказаться от всех материальных благ, подавить все желания и стремления, кроме стремления к слиянию с божеством» (*Морочник С. Б., Розенфельд Б. А.* Указ. соч. С. 15–16).

¹⁴ См., например: *Ибн Туфейль. Повесть о Хаййе ибн Якзане* // Средневековая андалусская проза. М., 1985. С. 199–278.

¹⁵ См. также: *Бертельс Б. Э.* Суфизм и суфийская литература // Избранные труды. М., 1965. Т. 3; *Ислам: Краткий справочник.* М., 1983. С. 104–107; *Фиш Р.* Джалаледдин Руми. М., 1985. С. 136–140.

многие аспекты суфийского учения. История литературы на фарси (как и на арабском) знает немало поэтов-суфиев; Джалаледдин Руми – может быть, величайший из них. Но следует ли числить среди них Омара Хайяма?

Суфийская поэтическая символика группируется вокруг слов «любовь» и «вино»: первое – о взаимоотношениях взыскующей души с Богом, второе – о восприятии уроков наставника и воздействии суфийских религиозных обрядов. Эти же слова играют значительную роль в поэзии Хайяма.

Но не только они дают почву для попыток рассматривать все стихи Хайяма как суфийские. У него есть несколько десятков бесспорно суфийских четверостиший. Показательны те из них, где символика ослаблена или вообще снята и суфийские положения даны прямым текстом (см., например, № 64 и 100). Однако устойчивое желание выбросить из его рубайята все чисто суфийские четверостишия возникает не случайно: они явно противостоят основной массе стихов.

Далее. Неужели для суфия допустим бунт против шариата, так демонстративно выраженный у Хайяма? Представьте, да! – хоть и частично. Некоторые суфийские секты выступают против обрядовой стороны мусульманства, и потому те стихи, где Хайям призывает продать чалму и четки, игнорировать намаз и пост, отвергать Каабу и разрушать мечети и медресе как рассадник лицемерия, – почти не аргумент, они даже сближают Хайяма с этой ветвью суфизма. Конечно, суфийскому поэту следовало бы сопровождать эти призывы советом общаться с Богом непосредственно, без подспорья мечети и произносимой вслух молитвы... Хайям об этом постоянно «забывает». Есть граница, которую и суфий переступать не вправе: он может ополчаться на предписанные шариатом обряды, но ни в коем случае не на шариат в целом, не на ислам, не на Аллаха. А Хайям? Действительно, он эту границу, что касается шариата и ислама, вроде бы и не переступает, если не считать одного четверостишия, где он признается в мечте «разрушить эту тюрьму, выпростать ногу из стремени шариата». Мелькают лишь как бы случайные оговорки вроде этой: «Где сказано, что я подамся в мусульманство, зороастрийский хмель забуду? Что вы, нет!» Гадай как хочешь: всерьез он ставит себя вне мусульманства или шутит? Но едва ли он мог выражаться откровеннее, ибо, отказаться мусульманину от своей веры – много опаснее, чем грешить насмешками над Творцом.

Даже когда Хайям издевается над самими суфиями, над их тупостью, чванством, показной набожностью, фальшивыми лохмотьями, адресат каждый раз конкретен, и это нельзя толковать как осуждение суфизма в целом.

Разве лишь такая любопытная деталь: трижды он упоминает все в совокупности религиозные секты ислама («семьдесят два учения»), и все они одинаково чужды ему (см., например, № 130). По его словам, все они о Боге не имеют представления, все ложны! Но ведь суфийские секты входят в их число. Однако Хайям не выделяет ни одну из них как хотя бы чуть-чуть более верную.

Что же в итоге? Проклятия Творцу можно проигнорировать, полагая в них не философскую позицию, а просто следствие дурного характера: не ужился с Аллахом! Осторожные оговорки – счесть случайными оговорками или шутками. А в том, что, предлагая продать четки, Хайям не упоминает про «четки духовные», – увидеть лишь поэтическую неряшливость. При таком подходе, опираясь на разрозненные тексты четверостиший, уже нельзя утверждать, что их писал не суфий.

Итак, есть многие «но», однако все они легковесны. И настоящий контраргумент, видимо, только один: если, временно отделив чисто суфийские стихи, рассмотреть все остальные в совокупности, как мы здесь и сделаем, и проанализировать их многочисленные намеки, то постепенно рисуемая ими философская концепция сложится в картину, очень далекую от суфизма.

Впрочем, следы суфийского учения есть везде. И картина мироздания, и описание движения души по кругам его у Хайяма близки к суфийским представлениям. Разрыв с ними проходит по четкой границе: Хайям категорически отсекает устремления к Богу. Впечатление такое, что он действительно прошел школу суфизма¹⁶, согласился с его картиной мира, но с годами отверг его взгляды на роль Бога в жизни человека, отверг саму цель, на которую устремлена вся суфийская практика, и предложил человеку цель иную.

То, что он был какое-то время поэтом-суфием, позволило впоследствии суфийским проповедникам спекулировать его именем и тщательно отсеянными (и подправленными) плодами его творчества. Здесь уместно свидетельство историка Джамалиддина ибн Юсуфа Кифти (1172–1239): *«Омар-ал-Хайям – имам Хорасана, ученейший своего времени, который преподает науку греков и побуждает к познанию Единого Воздаятеля посредством очищения плотских побуждений ради чистоты души человеческой и велит обязательно придерживаться идеальных между людьми отношений согласно греческим правилам. Позднейшие суфьи обратили внимание на кое-что внешнее в его поэзии и эти внешности применили к своему учению и приводили их в доказательство на своих собраниях и уединенных беседах. Между тем сокровенное его стихов – жалящие змеи для мусульманского законоположения и сборные пункты, соединяющие для открытого нападения»*¹⁷.

Обратим внимание на последние слова. Впечатление такое, будто написавший их знал тайное учение Хайяма, которое мы здесь только пробуем расшифровать по четверостишиям.

¹⁶ «Хайям, как видно из его философских трактатов, был знаком с учением суфиев, но мировоззрение его сложилось не на основе суфийской мистики, а вопреки ей» (Морочник С. Б., Розенфельд Б. А. Указ. соч. С. 158).

¹⁷ Qifti. Tarikh al-hukama. Leipzig, 1903. S. 243–244. Цит. по: Омар Хайям. Трактаты / Пер. Б. А. Розенфельда. С. 59.

Если не суфий, то кто?

В литературе, анализирующей поэтическое наследие Хайяма, не удалось отыскать ни сколько-нибудь серьезной попытки расшифровать мировоззрение поэта по его стихам, ни хотя бы даже ссылки на такую попытку. Практически все сводится к усилиям привязать Хайяма к той или иной привычной коновязи, ответить на вопрос «чей он?» вместо «о чем он?», выбрав один из таких вариантов:

1) Хайям – мистик, суфий. Попыткам доказать или опровергнуть это посвящены почти все исследования. Выше было уже показано, что при рассмотрении изолированных текстов отнести Хайяма к суфийским поэтам довольно легко. Но не случайно возникали и серьезнейшие возражения, как в древности, так и теперь, причем основанные на самых различных соображениях;

2) Хайям – гедонист, проповедующий чувственные наслаждения, вино и разврат. Утверждать такую точку зрения тоже легко, достаточно отбросить его моралистические стихи, «вино» понимать только в прямом смысле, а его девиз «Будь весел!» неизменно воспринимать как «Наслаждайся!» или «Пьянствуй!»;

3) Хайям – поэт-хулиган, «однофамилец» Хайяма-ученого. Это вовсе не философ, так что глупо искать какую-нибудь логику в его рифмованном богохульстве. Такая точка зрения возникла на родине Хайяма. Обоснована она, видимо, тем, что «Хайям» – не такой уж редкий псевдоним среди персидских поэтов; двое из них жили даже раньше Омара Хайяма;

4) Хайям – прямо-таки образец передового ученого XX века. Идеологически он прогрессивней Эйнштейна: атеист и диалектик-материалист. Сам он в Бога, разумеется, не верил, а насмешки над Богом – это на самом деле издевки над окружавшими ученого мракобесами, которые все поголовно в Аллаха верили, однако вопреки здравому смыслу и ущемленному самолюбию старательно записывали для потомков хайямовское глумление над их набожностью. Такой взгляд культивировался в нашей стране в 1930-е годы, когда Хайям был записан в отечественные (таджикские) классики;

5) Хайям – вполне добропорядочный мусульманин традиционного толка (если и суфий, то слегка), который позволял себе так жутко ругаться с Аллахом лишь потому, что беспредельно верил в Его милосердие. Этой точки зрения придерживался Фуруги, один из самых видных иранских исследователей хайямовского творчества.

Вот и все, что удалось обнаружить, с незначительными вариациями (например: в Бога верил, но все же материалист). Ну, а если не первое и не второе, а нечто шестое? Попытки ограничиться этими пятью предположениями не привели ни к каким значительным открытиям – не потому ли, что мысль Хайяма не уложить ни в одно из этих прокрустовых лож?

Три ступени

В рубайяте Хайяма, как в разрозненных листках дневника, сохранились следы его напряженных духовных исканий. Недаром он упоминает о «семидесяти двух ученьях» – ветвях ислама: легко ли в таком множестве религиозных течений выбрать созвучное себе? Мало того: здесь же и древний зороастризм, и иудаизм, и христианство... Обширное поле поиска. Вот косвенное свидетельство того, что эти проблемы какое-то время занимали Хайяма (№ 227): «В чести невежество... Сменю религию... В исламе – стыдно мне». Стыдно не за себя, а за ислам, положения которого таковы, что неизбежно представляют человека грешником. Из первой строки этого четверостишия видно, что Хайям искал среди религиозных учений пищу не только сердцу, но и уму: он выбирал мировоззрение, с которым согласился бы как ученый. И, как увидим, среди известных в его время не согласился ни с одним.

Обратите внимание на рубаи № 247 – свидетельство того, что подобный поиск он (уже умудренный собственным опытом) считал необходимым для каждого.

Стихи Хайяма, рассмотренные в совокупности, позволяют выделить три этапа в его духовных поисках:

1) юная восторженность перед Творцом, порождавшая экстатические стихи; вскоре – прохождение суфийской школы и последующий разрыв с ее представлениями о цели человеческих устремлений;

2) после краткосрочного интереса к зороастризму – разочарование во всех известных Хайяму мировоззрениях, период «мировой скорби» в его стихах;

3) выработка и проповедование собственной мировоззренческой концепции.

Любопытно, что, когда четверостишия Хайяма расставлены соответственно этим этапам, хорошо заметен такой же поэтапный рост его как поэта.

Вначале – традиционные восхваления Аллаха, в которых, при всей взволнованности и искренности, а часто и вдохновенности автора, отчетливо видны следы старательного поэтического ученичества. Он овладевает формой стиха виртуозно, но ему, по сути, еще нечего сказать своего.

Суфийские стихи уже раскрепощеннее по форме, в них иногда начинают встречаться по-хайямовски пронзительные образы.

Об интересе к зороастризму свидетельствуют несколько четверостиший. Особенно любопытно одно из них, носящее откровенно дневниковый характер. Можно только удивляться, как искаженно было оно переведено В. Державиным:

Шел в кабак я, тепля в сердце веру чистую одну,
Что зуннаром светлых магов там свой стан я зятяну.
Там я так вином упился, что служитель харабата
Выбросил мои пожитки, после вымыл майхану.

В оригинале нет ни «кабака», ни «майханы» (опять же питейного заведения), ни какого-либо упоминания про вино. Есть «харабат» («развалины»), но здесь это молеальный дом зороастрийцев, а не привычное в гедонической поэзии иносказание для «кабака». И есть зуннар, ритуальный пояс огнепоклонников, но автор-то уже опоясался им, что и является необходимой завязкой в сюжете этого четверостишия (№ 235).

Их религия замкнута, последователи Заратуштры не допускают в нее посторонних. Любопытствуйте – да, но... Автор, который по наивности решил продемонстрировать интерес к магии огнепоклонников, опоясавшись их зуннаром, для служителя харабата стал попросту наглым самозванцем, чем и заслужил справедливые побои и изгнание из храма. Возможно,

этим анекдотичным эпизодом и закончилось знакомство Хайяма с их религией. Скорей всего, роль опрометчиво надетого зуннара сыграли (не в стихах, а в жизни) самоуверенные суждения молодого ученого о магических тайнах.

Но именно здесь, в «зороастрийских» стихах, поэзия Хайяма вдруг буквально взрывается радостью жизни, наполняется весенней музыкой, солнцем и щебетом птиц. Суфизм-то не вдохновил Хайяма ни на одно жизнерадостное стихотворение! И впоследствии поэт неоднократно поминает зороастризм добрым словом, как бы продолжая числить себя среди его последователей (например, см. № 759).

Однако чем ярче и радостней солнечный свет, тем гуще ночная тьма. Эти вспышки веселья контрастно оттеняют бездну остро ощутимого Хайямом незнания; вокруг соловьиной весны поэт видит лишь черную бездонную пропасть, в которую случайной искоркой летит весь наш праздничный мир. Но и этот мир, в свою очередь, – бездна: гонимые ураганом времени, на миг вспыхивают и исчезают пылинки-люди. Зачем? За что?.. Вопросы без ответа. И вот в стихах Хайяма начинает звучать «мировая скорбь», вселенский нигилизм.

Стихи этого периода наиболее известны, для многих читателей как раз они-то и создают поэтическое лицо Хайяма. Неудивительно: они потрясают «бетховенскими» контрастами между вспышками юного веселья и юного трагизма (юность, как утверждали мудрые греки, – возраст от 20 до 40 лет). Заметим, это примета именно юного пера: говорить такое, что хоть сейчас – головой в омут, но при этом говорить так, что слушатели более приходят в восторг, чем сопереживают. Позже, в старости, у Хайяма возникает новый пласт трагических стихов, но там иные, сугубо личные мотивы и гораздо более мягкая, человеческая поэтика, так что их легко различать.

Гипнозу стихов «нигилистического» периода поддаются не только читатели. Исследователи, анализировавшие мирозерцание (увы, не мировоззрение) Хайяма, сосредоточивались именно на них, отсюда и шли их выводы, будто в целом Хайям – поэт пессимизма, бессмысленности жизни и т. п.¹⁸ Это верно, однако, лишь для одного этапа его жизни. Причем не главного. Возможно, и не очень долгого. Этот этап – лишь преддверие взлета, лишь предисловие к стихам Хайяма, пока еще только вырастающего в поистине великого мыслителя и поэта.

Теперь обратимся к четверостишиям, которые я отношу к третьему, вершинному этапу Хайяма. Их сотни. Здесь уже звучит полностью раскованная поэтическая речь; пронзительные хайямовские образы и приемы письма, презревшие все поэтические традиции, рассыпаны во множестве; сверкающие созвучия и внутренние рифмы возникают как бы сами собой, без усилий автора; при необходимости вдруг опять предстают головокружительные стихотворные конструкции, выполненные с прежним блеском, однако наполненные теперь словами, несущими глубокий неожиданный смысл. В совокупности эти стихи заставляют сделать вывод, что Хайям создал собственное этико-философское учение, уникальное и по большому счету революционное.

Казалось бы: чего ради извлекать мировоззрение Хайяма из четверостиший, если известны его философские трактаты? Но вот что пишут Б. А. Розенфельд и А. П. Юшкевич во вступительной статье к книге трактатов Хайяма в переводе на русский язык: *«Проблем философии и религии Хайям касается во множестве четверостиший и в пяти специальных трактатах. Все это, казалось бы, дает более чем богатый материал для суждения о его мировоззрении. В действительности же вопрос о мировоззрении замечательного ученого и поэта*

¹⁸ «Омар Хейям (ум. 1123) в своих бессмертных четверостишиях (рубайятах) высказывает потрясающе-неотрадные суфийские воззрения на жизнь, на ее смысл или, вернее, бессмысленность, на суетность всего» (Энциклопед. словарь «Гранат». 7-е изд. Т. 31. С. 624–625). «Колебания между верою и неверием, между материализмом и идеализмом характерны для философских взглядов поэта. Эти колебания определили противоречивость основных мотивов его рубаи: пессимизм и скепсис наряду с культом вина и наслаждений, бунтом против бога и судьбы» (Алиев Р. М., Османов М.-Н. О. Омар Хайям. М., 1959. С. 4).

далек от ясности. С давних пор Хайяма трактовали то как вольнодумного мыслителя, то как религиозную натуру, чуть ли не как мистика. Дело в том, что философские трактаты во многом расходятся с поэтическими высказываниями...Мы полагаем, что нет основания априорно больше доверять философским трактатам, чем четверостишиям»¹⁹.

Вот и попробуем довериться четверостишиям. Конечно, это будет реставрация не философской системы Хайяма в чистом виде, а ее поэтической версии. В стихах высокие абстрактные понятия подменяются живыми образами, и хотя взаимоотношения таких персонажей соответствуют соотношениям философских понятий, хотя мировая пьеса та же, режиссура в поэтическом театре совершенно иная. Простой пример. Хайям как астроном наверняка разделял гелиоцентрическую концепцию Бируни. Однако в стихах его Земля по старинке покоится на Тельце или Рыбе. Так ближе читателю и поэтичней. Лишь однажды оказалось более поэтичным представить Землю планетой, подобной Венере-Зухре. Точно так же в стихах обретают зримые черты и человекоподобные свойства характера такие персонажи, как Аллах, рок, небеса, смерть... Поэтому подчинимся правилам поэтической игры и не будем гадать, как Хайям строго философски понимал, допустим, абсолютный детерминизм Бытия, который в стихах традиционно изображал через Калам, Скрижали и тому подобные сказочные атрибуты.

¹⁹ Омар Хайям. Трактаты / Пер. Б. А. Розенфельда. С. 59.

Множественность вселенных

Любая развитая религия состоит из описания общей конструкции мира, созданного и руководимого Богом; из роли и задачи человека в этом мире; из морально-этического кодекса, соответствующего этой роли, и практического руководства для выполнения этой задачи. Все эти составные части присутствуют и в тайном учении Хайяма; причем, как свойственно и религиозным школам, именно морально-этическому кодексу и практическому руководству придается у Хайяма главное значение. Рассмотрим их по порядку, начав с конструкции мироздания.

В существовании Творца и в том, что наша Вселенная создана именно им, Хайям не сомневается нисколько. У него нет ни строчки, где отрицалось бы существование Бога. Строчке из переводов И. Тхоржевского: «И нет творца, пред кем упасть бы ниц», – нет соответствия в оригиналах. Даже нет ни одного четверостишия, где наличие Бога в мироздании хотя бы подвергалось сомнению.

Наш мир, наша Вселенная – некоторая часть мироздания, – по Хайяму, имеет начало и конец во времени: «Круженью неба тоже прерваться точно так, как веку твоему». Конечно, хайямовская Вселенная, по нашим меркам, очень мала, не обширней известной нам Солнечной системы: Земля либо Солнце в центре, да несколько планет, за которыми сфера неподвижных звезд – загадочных блесков на куполе всемирного дворца, сочетающихся в непонятные письма на покрове, скрывающем от нас разгадки мировых тайн.

Туда, за хрустальную звездную сферу, не дано проникнуть ни взгляду, ни мысли, ни вдохновению... Тем неожиданней, что Хайям утверждает идею множественности вселенных – см. № 600. Творец не упомянут, и просто поразительно, как это четверостишие перекликается с космогоническими догадками XX века о множественности недоступных для наблюдений вселенных – «узоров» среди «моря»-мироздания. (Во избежание недоразумений надо оговорить: в некоторых источниках, в том числе в книге Тиртхи, вместо слова «узор», т. е. общая структура Вселенной, – «индивидуум». Разночтение на уровне описки, причем «индивидуум» – слово не из лексикона Хайяма. Естественно, смысл четверостишия полностью искажается.)

Обратим внимание на неизбежный вывод из утверждения о множественности вселенных: человек-то живет лишь в одной из них; если их много, то не обязательно именно земной человек является главной целью Божественного творения, возможно, он даже не находится в поле постоянного внимания Творца. Для религий такая мысль недопустима: в них всегда человек – жестоко воспитуемое, но все-таки любимое детище Создателя. Нередко в стихах Хайяма можно заметить намеки на заброшенность нашей Вселенной; наиболее ярко это звучит в самом древнем из известных его четверостиший (которое обычно понимают как говорящее про людей; но у Хайяма там слово «конструкция» или «строение», которое справедливо отнести к более крупным объектам; в других версиях – «сочетание стихий», т. е. акт творения Вселенной – № 601).

Если наша Вселенная не единственная, то легко понять и низкий уровень значимости человека для Творца: «Печально, что до нас нет дела небесам, забвенью суждено делам и именам...» Похоже, так было задумано изначально. Как не смириться?.. Но Хайям находит и предлагает человеку путь, который постепенно приведет его к иному, высочайшему уровню значимости:

Быть целью Бытия и мироздания – нам,
Всевидающим умом, лучом познания – нам.
Пойми же, человек, что круг вселенной – перстень,
Где суждено сверкнуть алмазной гранью – нам!

Причем добиться этого без участия, без помощи Бога, собственными слабыми человеческими силами!.. Но не стоит забегать вперед. Пока речь – о конструкции мира в хайямовском представлении. Поскольку детали его взглядов на этот предмет мало отличаются от суфийских (кроме роли Бога и идеи о множественности вселенных), упомянем о них вкратце, лишь настолько это необходимо для понимания стихов.

Основа физической структуры нашей Вселенной – Четыре первоэлемента, они же Четыре стихии: Огонь, Вода, Земля и Воздух. Они часто упоминаются в четверостишиях Хайяма, становясь даже поводом для поэтической игры в перечисление стихий по заданной схеме. Присутствуют в стихах и другие «фундаментальные числа»: Семь (небесных сфер); Шесть (направлений в трехмерном пространстве), они же «Шесть дверей»; Пять (чувств); «Две двери» – прошлое и будущее, рождение и смерть. Все они символизируют Бытие, наш мир, нашу Вселенную.

Обветшавший небосвод

«Даже волос с головы человека не упадет без воли Аллаха», – говорят мусульмане. По их легендам, еще до сотворения Вселенной Бог создал Калам – стило, которое на Скрижалях под Его диктовку расписало будущее вплоть до мельчайших событий, до крохотного шажка муравья через тысячи лет. Небо – движитель этих событий: вращаясь, небеса, как передаточный шкив, заставляют двигаться все и всех на Земле. Считывая со Скрижалей «план на сегодня» и диктуя небу и планетам соответствующие движения, Рок реализует предписанные события.

Хайям так часто обращался в стихах к составным частям этого механизма, что складывается впечатление, будто он безусловно верил в абсолютную детерминированность Бытия. И скорее всего, действительно верил – поначалу. Полная предопределенность трагична в самой своей сути – см., например, четверостишия № 169 и 220.

Но вот логическая неувязка, замеченная крамольными мыслителями задолго до Хайяма: если каждый шаг человека предопределен, повсюду лишено смысла. Хайям тоже говорит об этом (№ 471). Как ученый, Хайям ищет и наконец находит решение этого противоречия. Вот тогда уже появляются у него псевдотрагические стихи о предопределении, на поверку – сатира, основанная на доведении до абсурда, с целью заставить человека задуматься (например, № 300, 317, 468).

Идея абсолютно детерминированного Бытия, преподносимая якобы всерьез, позволяет Хайяму язвить и над Скрижалями, которые он берется переписать гораздо толковее, и над небом, вдруг сочувствуя этому подневольному палачу. Здесь язвительность не самоцель: Хайям показывает страшное – нелепым, чтобы освободить слушателя от привычного с детства гипноза, от представлений о неотвратимости судьбы. А такое освобождение было необходимо для последователей его учения.

Собственное хайямовское решение этой задачи крамольно настолько, что его попросту нельзя высказывать открыто: божественная предопределенность жизни – одна из важнейших мусульманских догм. Лишь в одном из философских трактатов – в «Ответе на три вопроса» Хайям смутно оговаривается, что детерминизм «очень далек от истины»²⁰. Более ясный намек мы находим в четверостишии, ключевом для понимания всего мировоззрения Хайяма:

Не дай себя отвлечь, за блесками не рвись;
Добра ли, зла судьба, а всё равно – трудись.
В игре не только ты, все проиграть способны:
И Мекки гордый храм, и небосвода высь.

Дословно так: *«Попусту за всяким сверканием не следует рваться. Несмотря на добро и зло судьбы, следует работать. О небесах и о мечети Каабы благословенной: всякому узору, который становится зримым, ему может последовать проигрыш»*. Последнее слово, означающее проигрыш именно в азартной игре, является организующим центром для понимания всего четверостишия.

Все проиграть способны, в том числе и небосвод! Это значит, диктуемое небосводом движение событий – не монотонный бездушный механизм, неотвратимо катящийся по людям, как арба по булыжной мостовой (т. е. не абсолютный детерминизм), а скорее азартная игра в кости, игра опытного шулера против простака (неполный детерминизм, с некоторой долей случайности). При неуклонном старании даже слабый игрок (человек) имеет шанс на удачу против сильнейшего (высших сил). Иными словами, человек может порой и сам повлиять на

²⁰ Там же.

свою судьбу. Рок силен, но не всемогущ. Придя к такому выводу, Хайям, должно быть, почувствовал себя первым мусульманином, освободившимся от неумолимой воли Аллаха. Недаром он взял на себя право говорить с Богом на равных.

Итак, ответ: неполный детерминизм. Сильный, но не абсолютный. За семь тысячелетий после Сотворения мира механизм распался (не ради красного словца образ обветшавших, от старости выживших из ума небес!), и теперь уже не всё, оказывается, в жизни человека зависит от Бога, соответствует Его древним предначертаниям. И становятся понятны частые призывы Хайяма ловить мгновения, когда судьба дает промашку: «Не трусь перед судьбой, тогда сверкнет во мгле священное вино на нищенском столе».

Да и таким ли уж убежденным мусульманином был Хайям? Слишком рискован намек, что «и Мекки гордый храм» может проиграть... Где же? – в «игре» против других религий?!

В прекрасном мире иллюзий

По суфийским представлениям, схожим с древнеиндийскими, зримая нам физическая Вселенная, многокрасочная Земля и звездные небеса – небольшой участок, некий пласт или срез мироздания, которое распадается на два Мира: Бытие и Небытие, оно же Ничто. «Ничто» означает не полное отсутствие чего-либо, а только полную невосприимчивость органами чувств человека; «Небытие», аналогично, – невозможность для живого человека пребывать в среде, доступной только духу, лишенной атрибутов Бытия: пространства, вещества и т. п. Собственно, всё мироздание – Ничто, и только какой-то клочок его, где Всевышний актом творения «сочетал» разрозненные Четыре стихии и тем самым создал видимое нечто, где Он растянул новообразованное вещество на распялках Шести направлений и, округлив небесными сферами храм нашей Вселенной, заселил его человечеством, – лишь этот клочок и есть наше Бытие. Для Хайяма Небытие реально существует; более того, именно там, в главной части мироздания, происходят основные события, жизненно важные для человека. Бытие – тот крохотный участок ткани Небытия, где часть волокон окрашена яркими красками и потому стала явью, прахом и плотью, стала зримой, «воплощена» для нас.

В таком представлении мир в целом можно сравнить с детской загадочной картинкой, где в хитросплетении деревьев и кустов художником скрыт охотник, но – картинкой «наизнанку»: представим, что мы почему-то видим только этого охотника, а все остальные штрихи стали прозрачными, ненаблюдаемыми. Мы не можем узнать, что изображено на картинке в целом; более того, фигура охотника своей завершенностью сбивает простодушных наблюдателей с толку и заставляет думать, будто это и есть вся картинка; а Хайям, вслед за суфиями, называет такое восприятие иллюзией, непосредственно воспринимаемый мир – иллюзорным. Надо правильно понять смысл этого слова здесь. Иллюзорно – не значит «нереально»; иллюзорно – потому, что второстепенное принимается за главное или даже за единственное сущее. А что же главное? Оно – там, в Небытии, и потому уже всерьез трагична земная жизнь, смысл которой утаен.

Человек – соединение смертной плоти и бессмертной души, для которой пребывание в Бытии – лишь краткий эпизод в бесконечном пути по дорогам Небытия. Похоже, вслед за древнеиндийскими учителями Хайям верит в переселение душ; но, поскольку подобное представление категорически запрещено ортодоксальным исламом, в стихах Хайяма проскальзывают лишь намеки:

Людей, украсивших мозаику минут,
Уводят небеса – и вновь сюда ведут.
Пока бессмертен Бог, полны подолы неба,
Карман земли глубок, – рождаться людям тут.

Кстати, обратим внимание: Бог бессмертен... пока! И больше нигде ни намек: как истолковать эту ошеломляющую «оговорку» Хайяма.

Четверостишие про «карман земли» содержится в шести из рассмотренных мной источников; текст первых строк везде одинаков, дословно: *«Те, кем небеса кусочки времени украшают, – приходят, и уходят, и вновь со временем приходят»*. Когда Хайям порой хочет сказать, что приходят другие такие же, он и называет их «другие». Так что здесь приходят **ВНОВЬ** – именно они же.

Полагаю, что и в знаменитом четверостишии № 189 о фигурках (то ли марионетках, то ли шахматных фигурах) содержится тот же намек – дословно: *«Позабавляем друг с другом /зрите-*

лей/ на кожаном коврикe Бытия, попадаем в ларец Небытия один за одним вновь». Фигурки-то явно для многократного употребления.

И в том и в другом тексте слово **«ВНОВЬ»** достаточно красноречиво.

Эти догадки не противоречат частой у Хайяма мысли: «Будь весел сейчас, ибо живешь единожды». Множественность воплощений суждена не человеку, а лишь его духу. Хайям, дерзко оспаривая принципы всех религиозных учений, ставит Человека превыше его духа, ибо дух – лишь одна из его составляющих, соответственно и единственную человеческую жизнь он почитает ценностью, которой нет равных. Конечно, необходимо так организовывать жизнь, чтобы не навредить духу в его бесконечном пути; но недопустимо и терзать свое сердце, живущее лишь единожды.

Для того кто исповедует идею метемпсихоза, смещаются многие акценты. Прежде всего, жизнь души становится многоступенчатой: каждый век в человеческом теле – не более чем следующий класс в школе духовного развития. Меняется отношение к смерти: она уже не конец всему, а не более чем «дверь» для выхода в Небытие, где можно спокойно обдумать протекшую жизнь и подготовиться к новому воплощению. Не на это ли обдумывание намекает Хайям в рубаи № 382?..

Меняется представление об ответственности за свои действия: уже невозможно зажмуриться и нырнуть в смерть, забыв про свои злодеяния. Совесть неубиваема. Искупать их придется не одно воплощение. Самосовершенствование растягивается на множество воплощений, каждое из которых посвящено решению какой-то частной задачи: научиться прощать своего врага, или преодолеть в себе тщеславие, либо же насытиться богатством или властью, чтобы тяга к ним в будущих воплощениях не мешала... Следовательно, намеченные в Небытии для данной земной жизни задачи разных людей не совпадают, и каждому нужно распознать свою задачу и решать ее индивидуально.

Но земное Бытие настолько ярко в сравнении с остальными пластами мира, что душа, зачарованная его красками и соблазнами, может забыть цель нынешнего воплощения, более того, даже вообразить, будто это земное Бытие – единственное сущее; поначалу такая забывчивость естественна; однако, когда человек созреет и покончит с детскими играми, его душа должна вспомнить, осознать свою цель. Кто не удосужился заставить свою душу сделать это, кто в результате ведет бессмысленное существование, тех поэт называет «спящими». Это – люди, впустую тратящие жизнь:

Разумно ли судьбу увещевать весь век,
То славу, то позор переживать весь век?
Как ни веди ты жизнь, а Смерть идет по следу.
Решай, что лучше: спать иль пировать весь век.

«Пировать» – в противовес «спячке» – значит вести жизнь осмысленную, целенаправленную. Но поэты-переводчики, решавшие это четверостишие как гедоническое, неизменно «или» превращали в «и», разумея, что где пирушка, там и пьяный сон: «Лучше жизнь, как во сне, в опьяненье прожить», – не понимая символики, не замечая сформулированной Хайямом проблемы выбора: бездумно существовать или плодотворно жить (см. также, например, № 360).

Другой его символ для изображения «спящих» – «сова», любительница тьмы и запустения (№ 1173).

Редкостной даже для Хайяма является грандиозная картина, вобравшая и Бытие (где он видит, увы, только «спящих»), и Небытие – с душами, доверчиво спешащими к воплощению, и со встречным потоком уходящих в разочаровании (№ 248).

Душа и Сердце

Ко многим печальным недоразумениям приводило переводчиков то, что «душа» и «сердце» в русской поэзии равнозначны, и они воспринимали такими же синонимами эти слова у Хайяма. Между тем у него это два принципиально разных «действующих лица», есть и третья в их ряду: Разум (Рассудок). У каждого своя сфера деятельности, и они находятся в сложных, порой драматических взаимоотношениях.

Душа бессмертна. Она пришла из Небытия в человеческое тело и вернется в Небытие после смерти. Для нее этот мир – чужбина (№ 144).

Сердце родилось на земле и останется в земле; это все-таки часть смертной человеческой плоти, хотя и наилучшая, «одухотворенная» ее часть. Именно через Сердце общается Душа с земным миром. Именно Сердце – первый помощник Души в ее работе. На него возложено создавать Душе такие условия, чтобы она смогла вспомнить свою задачу, а при необходимости оно должно и обеспечивать условия для ее отдыха (№ 262, 421).

Сердце знает только этот мир, Бытие. Поэтому оно жадно интересуется у Души тайнами Небытия, особенно сколько-то доступными его воображению адом и раем. В ответах Души чаще всего проскальзывает та интонация, с которой взрослый говорит с ребенком на слишком серьезные для того темы (№ 420, 251). Однако Сердце совсем не глупо, оно способно (правда, очень по-своему, в плане эмоций, а не рассудочно) понимать многое с полуслова:

Сказало Сердце мне: «Учить меня начни.
Науки – таинства; но что таят они?»
Я начал с азбуки: «Алеф...» И слышу: «Хватит!
Свой своего поймет, лишь буквой намекни».

Сердце сразу прониклось глубочайшим смыслом буквы «алеф», она же – цифра «один». Это и символ Единого Сущего, и символ единства всего мироздания. О чем еще говорить?..

В свою очередь Душа с уважением относится к предостережениям Сердца, лучше понимающего земную жизнь (№ 528).

Как и некоторые другие стихи, ранее упомянутое четверостишие № 247 показывает: Хайям считает, что религиозно именно Сердце, а не Душа. Душа знает иной мир, зато Сердце, что-то выпросив у нее и кое-как поняв, начинает фантазировать, достраивает полученные сведения по-земному яркими чувственными образами. Так и появляется религия, либо ее новая ветвь – секта. С точки зрения Души, все молятся одному и тому же Всевышнему, только называют и представляют Его по-разному. Но для Сердца главное – эмоции и образные представления. Поэтому оно и должно найти «среди вер и ересей – свою». Скорей даже: сколько Сердец – столько вер.

Любопытен косвенный признак того, что рубайяты Хайяма действительно содержат мало чужеродных вкраплений. В классической персидской поэзии слова «душа» и «сердце» чаще всего являются ласкательными именами возлюбленной или друга, соответствуя русскому обращению «душа моя!». Между тем в стихах Хайяма никогда (если не считать 2–3 чужеродных четверостиший) такого не происходит. Он отвел этим словам раз навсегда определенные роли и собственных правил игры не нарушает. В использовании их – одно из проявлений его поэтической индивидуальности.

* * *

В этой главе «имена» действующих лиц ради пробы везде были приведены с большой буквы; читать такое непривычно и даже трудновато. Поэтому в тексте рубайята заглавные буквы в именах Душа и Сердце будут использованы лишь в необходимых случаях (то же самое: Рок, Смерть, Жизнь и т. п.).

В сетях добра и зла

Значительную, но так и не расшифрованную мною роль играют у Хайяма понятия **добра** и **зла**, которые в зрелых своих стихах он, по сути, приравнивает друг другу, как две стороны одной медали. «Всевышний Сам добро и зло послал сюда», «Сам из добра и зла связал Он сеть вселенной» для поимки несчастных людей, «Морщинами добра и злыми письменами лицо мне исчертил», «Когда бы смог я жизнь от рока оградить, от пут добра и зла себя освободить...»

Проблемы добра и зла касается какое-то самое сокровенное открытие Хайяма, которое он, видимо, утаил даже от своих учеников, ограничиваясь косвенными намеками: «Про Зло с Добром ни с кем нельзя мне говорить... Хранитель тайны – нем. Нельзя мне говорить» (№ 533).

Как попасть в рай

Итак, закончится жизнь Вселенной. Грядет Страшный суд... В первом Хайям не сомневается, он часто упоминает про неизбежный конец Вселенной. Но ко дню Страшного суда отношение его колеблется: от призывов готовиться достойно предстать на судилище (в ранних стихах) до завуалированных издевок над самой идеей Суда; одно из таких рубаи – шедевр утонченного сарказма:

Однажды всяк из нас на Судный зов придет;
Создатель обсудит плоды трудов придет.
Лишенных блага Друг, конечно же, утешит.
Вот видишь? Радость к нам в конце концов придет!

Заметим, на вид это стихотворение исключительно благопристойно. Многие исследователи, в том числе проф. В. А. Жуковский, всерьез сочли его квинтэссенцией суфийского благоговения перед «Другом». Нервный смех от высказанного «утешения» возникает как бы не по вине автора: читателю-де не по себе лишь потому, что он слабо верует в милосердие Всевышнего и недостаточно презирает бренную земную жизнь. Искусством говорить так, что ни к одному слову не придаться, но в целом почему-то звучит издевательски, – Хайям владеет в совершенстве.

Гораздо более откровенной иронией окружена идея **ада и рая**. Широко известны многочисленные хайямовские рубаи вроде № 934. Хайям очевидно игнорирует опасность попасть в ад и презирает соблазны рая. Но заметим одну тонкость: ни разу – среди сотен четверостиший – не утверждает он прямо, будто «нет ни рая, ни ада, о сердце мое» (цитата из перевода Г. Плисецкого – см. № 211). Почему? Возможно, повинна привычка к научной точности утверждений. Хайяму никто не может доказать, будто ад есть. Но и он не находит обратных доказательств. Поэтому позволяет себе только язвительно сомневаться; граница прямого отрицания проходит очень близко (как в рубаи № 544), но он ее не переступает.

Интересно, откуда богословы так много знают про ад и рай?.. Хайям однажды даже изображает единственно мыслимый (и, конечно, нелепый) источник «сведений из загробного мира» – возвращение покойников (№ 646).

Во всяком случае, для Хайяма очевидно: есть ли ад и рай, нет ли их, но человеку глупо руководствоваться недостоверными представлениями о них, а внушать кому-либо такие страсти – попросту преступно:

Как буйно в медресе, и в кельях, и в церквах
Растут стремленья в рай и перед пеклом страх!
Но тот, кто разгадал и вызнал тайну Бога,
Не сеет сорняков в доверчивых сердцах.

Любая религия «сеет сорняки», обещая своим приверженцам рай, а посетителям «нечестивого храма», разумеется, ад; Хайям смеется разом над всеми (№ 379).

Впору усомниться: да был ли он, в самом деле, мусульманином? Впечатление такое, будто Хайям ниспровергает атрибуты мусульманства, расчищая место для чего-то иного.

Что Всевышний натворил с человечеством?

Какое же сомнение заставляло Хайяма и какое знание давало ему право последовательно проходить все ступени взаимоотношений с Богом: умолять Его, просить о помощи; потом давать Ему иронические советы, упрекать, насмехаться, гневаться, проклинать; наконец, демонстративно отворачиваться от Его возможной благосклонности? Выстраивается головокружительная лестница конфликта, и на ее верхней ступени Хайям уже вершит суд над Творцом – в картине, может быть, уникальной в мировой поэзии:

Качнутся небеса и рухнут в никуда,
Вдогонку пролетит отставшая звезда, —
Тебя я в этот миг на площади Суда
Поймаю за полу: «Так Ты – убийца! Да?!»

Дословно: *«Ты должен признать грехом убийство, /совершенное/ Тобой!»* Разве здесь речь про убийство одного человека – автора четверостишия? Едва ли. Хотя именно так понял О. Румер в своем переводе: «За что же ты убил меня, владыка вечный?» Слишком скромно для такой апокалиптической картины. Скорей здесь речь про убийство человечества, причем не про то, будущее, а про сегодняшнее, совершаемое каждодневно, начатое еще во дни Адама²¹.

²¹ В одной из версий завершающая фраза звучит целиком по-арабски – на языке самого Аллаха: «Кумир высокомерный, преступна бойня Твоя!»

Так что же Творец натворил?

Множество косвенных намеков убеждают, что постепенно Хайям пришел к выводу: Бога над нами давно уже нет. Он вылепил нашу Вселенную, наигрался ею, как новой игрушкой, потом вышвырнул на свалку и ушел создавать иные миры. Может, Он и вернется, чтобы устроить Страшный суд, но и то едва ли. Только в такой интерпретации становится понятным четверостишие № 705...

Объясняется и вроде бы странная закономерность в стихах Хайяма: в том, как нелепо и жестоко идут сегодня дела на Земле, он обвиняет стихии, небеса и рок чаще гораздо, чем самого Творца, которому достается от поэта за то, что сделано когда-то, а не сейчас, за общие ошибки и нелепости творения. За ширмой небес он уже не видит Бога, следящего за нами. Насколько же далеко это леденящее душу открытие от прежних экстатических восторгов!

Итак, Творец бросил нас. «Скрижали – рок – небо» – обветшавший без присмотра механизм, только по инерции выполняющий свою безжалостную работу, тем более жестокую, что она стала бессмысленной, вершится уже не для Бога, а просто так. Потому Хайям снисходит даже до того, чтобы пожалеть палача-небо (№ 1130).

Не Бог, а Рок – корень зла сегодня; Богу досталось бы от Хайяма не меньше, но Его здесь уже нет. Гневные же выпады Хайяма против Бога в других стихах – это проклятия вслед напакостившему и ушедшему, а также полемический прием, чтобы разрушить авторитет Творца. Удивительно ли, что Хайяма порой принимают за атеиста. Бог есть, но для нас Его практически нет, и от Него в нашей жизни уже ничего не зависит, и скорей всего не будет ни божественной кары, ни воздаяния; от такой позиции до атеизма недалеко. В стихах третьего периода Хайям считает человека свободным от моральных обязательств перед Богом. О Нем можно и нужно забыть, отвергнуть все обрядовые требования и устраивать свою жизнь на Земле самостоятельно.

Человек, помоги себе сам

И вновь на первый план выходит проблема духовного развития. Путь суфиев нацелен на мистическое постижение Бога. Для Хайяма цель – Счастье, фундамент которого – земная жизнь; то Счастье, на создание которого нет ни времени, ни сил, ни даже права, пока ты обманут выдумками религиозных ханжей. Хотя поэт предпочитает другие термины: «веселье», «блаженство», – суть одна. Земную жизнь Хайям ценит гораздо выше, чем индийские мудрецы; идея метемпсихоза этому не мешает. Если уж именно Земля предназначена для многих и многих воплощений души, если Земля – источник самых ярких ее радостей и бед, если Земля – главная школа души, то Хайяму далеко не безразлично, как обстоят дела в этой школе.

Прибегнем к несложной аналогии. Вообразите, что вы живете в ожидании отъезда. Тюки увязаны. Продукты упакованы. Знакомства с теми, кто поедет в другую сторону, случайны и мимолетны. Из угла дует, в другом углу паутина – эти приметы запустения вас мало волнуют... Но караван, к которому вы думали пристроиться, сегодня не пришел, и вы ночуете на тюках, чтобы завтрашний день прожить в таком же несозидательном ожидании. И так день за днем...

А теперь уверьтесь, что караваны никогда не придут, что вам – и всем соседям – надо устраивать жизнь здесь. Тогда придется совсем по-другому взглянуть на неуютность здешнего караван-сарая. И, быть может, вы первый возьмете ведро и пойдете искать глину, чтобы замазать ту щель в углу.

Настолько же различен взгляд на земную жизнь у всех, уповающих на Бога (в том числе суфиев), – и у Хайяма, призвавшего человека совершенствовать свой дух ради улучшения земного бытия и украшать земное бытие, чтобы успешнее в нем совершенствовать свой дух. И делать это, опираясь на слабые человеческие силы. Недаром так часто он декларирует: «Прочь „завтра“ и „вчера“, сегодня счастлив будь!» В этой словесной формуле есть отголосок суфийских представлений о сиюминутности жизни, отвергающих заботу о завтрашнем дне, но у Хайяма отвергается «завтра»-иное, «завтра»-якобы-при-Боге, в общем-то итоге ради «завтра» человеческого – здесь, на Земле. И если путь суфиев индивидуалистичен, то предлагаемый Хайямом путь общественен, социален, он открыт и в принципе доступен для всех.

Не будем забывать, что Хайям жил 900 лет назад, задолго даже до великих утопистов Т. Мора и Т. Кампанеллы. Во всяком случае, предлагаемый им путь выглядит гораздо реальнее мечтаний философа и утописта Аль-Фараби (X в.) о «добродетельном городе», правитель которого мистическим путем получает истины и руководящие идеи от «активного ума» – ближайшей к человеку эманации божества.

Подведем промежуточные итоги.

Бог сотворил Вселенную и человека, но бросил нас на произвол судьбы (в буквальном смысле!). Для каких-то своих первоначальных целей Он создал и запустил строго детерминированный механизм существования, который тысячелетиями удерживает человечество в плачевном состоянии. Похоже, беспросветное существование запланировано для нас до конца Вселенной. Но с уходом Творца эта жестокая работа небес утратила смысл, она совершается только по инерции. Поскольку Творец покинул нас, мы вправе не следовать Его предначертаниям. Нет худа без добра: в отсутствие Мастера механизм расшатался, допускает промашки, и порой человек может воспользоваться ими, чтобы вопреки древним планам улучшить свою жизнь. Однако нужно научиться ловить такие случаи, научиться в такие моменты направлять свою судьбу не в худшую, а в лучшую сторону в сравнении с изначально предписанным тебе. И, наконец, при любом везении не очень-то станет совестливый и мудрый человек счастливее, если общий фон жизни остается прежним.

Нужна работа всех людей в одном направлении, чтобы так вот по крохам увеличивать сумму общечеловеческого Счастья – и постепенно вырваться из-под власти Рока, свернуть с

когда-то предписанного нам пути, расстаться с монотонным, беспросветным существованием. Даже массивный катящийся шар можно свернуть с прежнего курса легкими толчками сбоку. И тогда ныне униженное человечество действительно сможет «сверкнуть алмазной гранью» в «перстне»-Вселенной. А работа эта должна начинаться с сознательного самовоспитания, буквально с первого самостоятельного, не подневольного, не предписанного свыше движения собственной рукой (№ 1175).

Первое самостоятельное движение. Какое? Прежде всего, нужно перестать быть пособником палача-небосвода, вольным или невольным орудием подавления других людей. Не кичись богатством, не будь жаден, одаряя бедняков. Не злоупотребляй властью. И так далее. Примеры наставлений такого рода приводить нет нужды; обратимся к призывам не совсем обычным, а именно: не принимать на себя горе. Не горевать, не отчаиваться.

Человеческой психологии свойственно общее количество Счастья считать стабильным; оно как бы переходит из рук в руки, вроде денег. Если одному прибудет счастья, у другого отнимется. И в Ветхом Завете, и в христианском учении, и в мусульманстве жертвующие собой святые и праведники в основном заняты именно тем, что собирают на себя всяческие болезни, горести и несчастья, освобождая от них других людей, предоставляя тем возможность стать счастливее.

Но Хайям показывает нам, что представление о механическом перераспределении счастья-несчастья в принципе ошибочно, поскольку порожденное твоими горестями отчаяние поражает и окружающих (не обремененных твоими бедами) и уж точно не делает их счастливее – см. № 973.

Даже простое уныние подкрепляется самозарождающимися бедами и несчастьями (если идешь, голову повесив, то и впрямь налетишь на косяк). Следовательно, возможно размножение бедствий на манер эпидемии, и распространители этой заразы – люди, предающиеся отчаянию. Можно предположить такой ход мысли: если зло (через отчаяние) саморазмножимо, но добро среди людей все же существует – значит, и у добра есть сходный механизм саморазмножения, остается его обнаружить и начать сознательно применять. Такой взгляд, с точки зрения богословов, в принципе крамолен: он противостоит и идее святого самопожертвования, и взгляду на бедствия как на испытание либо наказание, ниспосланное свыше. Более того: делиться своим добром – безусловно, благое дело; но творить для себя и других добро «из ничего» – значит кощунственно уподобляться творящему Богу!

Человек рожден, чтобы страдать, утверждают все религии. А вот Хайям столь категорически выступал против губительных эмоций, как если бы считал их не естественной реакцией на беды и несчастья, а следствием духовной распушенности и невежества. Надо так организовывать свои эмоции, чтобы только с улыбкой, а не со слезами проходить сквозь любые несчастья (№ 1162).

Подвергаться нападкам судьбы – одно, но «пить горечь» при этом – совсем другое: первое неизбежно, второе постыдно. Религия призывает смиряться перед горестями, Хайям – смеяться над ними. И этим, по крайней мере, парализовать механизм размножения зла. Кроме того, только человек, не впадающий в отчаяние, способен «пробудиться», стать «мудрецом».

По Хайяму, и метод нейтрализации зла, и средство для «пробуждения спящих», и способ поправить свою личную судьбу, и то, как улучшить жизнь всего человечества, – одно и то же! Такая универсальность его метода наверняка убеждала Хайяма, что он прав, что действительно возможно людям, отвергнув упования на Бога, самим оборотить вполне реальный механизм злой судьбы.

Суфийский метод «пробуждения» и последующего «постижения Бога» основан на строжайшем самоограничении, на отстранении от всяческих соблазнов, на том, чтобы лишить душу ярких чувственных впечатлений (как бы вернуть в Небытие), посадить ее на голодную диету,

оградить забором запретов и тем самым заставить тянуться только вверх. Об этом прекрасно сказано в суфийском четверостишии, изредка приписываемом Хайяму (№ 1200).

Хайямовский же путь в том, чтобы не увлекаться ложными ценностями Бытия, не считать их значительными, поскольку они-то и отвлекают от истинной ценности жизни, они-то и провоцируют вспышки жадности, злобы, зависти и т. п. у одних, а как следствие – отчаяния у других. Среди этих ложных ценностей – себялюбие, тщеславие, жажда власти и богатства, похоть, условия для лени, неги, бездумия, равнодушия; они не существуют в Бытии изначально, а созданы самими людьми – «спящими», принявшими яркость Бытия и данный им недолгий человеческий век, за единственную данность. Отвергая эти ложные ценности, надо не ограждать по-суфийски забором от жизни, а воспитывать свою душу так, чтобы непрерывно летящая из-под колес судьбы грязь к ней не прилипала, чтобы не тянуло с пути подбирать каждую яркую стекляшку. Надо снять с тара своей души темные струны, чтобы никакой порыв житейского ветра не породил унылых отзвуков.

Зато – в противовес ложным – надо научить себя наслаждаться истинными ценностями Бытия, приобщение к которым просветляет душу и ни в ком не вызовет зависти, ибо они доступны всем: красота природы, весеннее цветение, пенье птиц, любовь, музыка, восторг научного познания, радость умного спора с друзьями. Разве не такой представляла земную жизнь душа, когда задумывала свое новое телесное воплощение? Именно в такой обстановке ей легче будет вспомнить свой замысел и осуществить его, не отвлекаясь на «блестки» и не парализуя себя бредовыми страхами.

Что касается страхов, то прежде всего Хайям стремится излечить человека от самой губительной эмоции: от страха смерти. Здесь он применяет богатый арсенал воспитательных приемов, от запугиваний по принципу «клин клином вышибают» (№ 802) до презрительной насмешки над трусливым хозяином собственной жалкой шкуры (№ 804).

Тот печальный факт, что жизнь преходяща, Хайям в утешение нам умудряется даже представить благом (№ 602). Он развенчивает ложные ценности этого мира, убаюкивающие «спящих» (№ 187), бичует вскормленные ими пороки (№ 594)...

И так далее. Но это – критика, обличение. Однако есть ли у Хайяма позитивная программа (в отсутствие которой упрекали его некоторые исследователи)? Есть. Более половины стихов посвящено как раз ее изложению. Она адресована не обществу, не государству, а каждому отдельно взятому человеку, однако имеет общественную направленность точно так же, как работа воспитателя и учителя. Собственно, Хайям и был воспитателем и учителем, сами интонации его четверостиший говорят о присутствии учеников: тут и повторы, и разъяснения темных мест, и подшучивания, и контрольные вопросы, и ответы недоумевающим (например, № 513).

Но это не учебник. Не философский трактат. Перед нами поэзия самой высокой пробы. И если оформленные в стихах мысли можно оценивать с позиций историка философии или религии, то манеру преподнесения их можно судить только по законам поэзии. Этические уроки Хайяма далеко не всегда высказаны прозрачно-ясно, иные его поучения требуют определенного навыка в их понимании (см., например, № 1174 или 48).

По легендам, Хайям не записывал своих четверостиший: сотни и тысячи строк дошли до нас только благодаря записям его учеников и друзей. Трудно найти аналогичный пример в истории за последнюю тысячу лет, трудно вообще поверить в подобную старательность поклонников его поэтического дара, только из любви к стихам десятилетиями подбиравших каждое оброненное им четверостишие. Иное дело, если ценность рубаи была не только в их поэтических достоинствах, если они являлись (как и стихи суфиев) сжатыми формулировками, комментариями и пояснениями различных аспектов его учения. Так позже «писари тайн» при Джалаледдине Руми подхватывали каждый произнесенный им бейт, потому что они записывали не просто стихи, но Истину, отчеканенную в стихах.

По той же, может быть, причине из стихов Хайяма, которые я отношу к ранним, до нас дошли четверостишия почти только религиозного содержания – и исчезли сотни веселых юношеских экспромтов. Трудно вообразить, будто их вообще не было, особенно если взглянуть на единственное уцелевшее из таковых – № 336. Впрочем, возможно, к ним же следует отнести и № 71–73.

Напрашивается вывод: школа Хайяма, где он пропагандировал учение, призванное взорвать изнутри мусульманство, действительно существовала, пусть и маскировалась под «преподавание науки греков», как о том пишет Кифти; заметим, от «науки греков» в четверостишиях практически нет ничего. Таким же конспиративным следовало быть и языку его лекций, и языку его стихов, говорящих на секретные темы.

Под маской чужого слова

Действительно, язык Хайяма условен, многие понятия он шифрует словами-символами. Это в традициях персидской поэзии, особенно суфийской. На «тайном языке» с Хайямом говорят то соловей, то роза, то кувшин. Вот и сам он беседует с нами на «тайном языке»: пусть имеющий уши – услышит. В качестве символов Хайям привлекает тот же набор слов, что и поэты-суфии, но вкладывает в них, как обнаруживается, заметно другой смысл. И если по суфийской поэзии существует разъясняющая литература, то символы Хайяма приходится расшифровывать почти с нуля и ошибки здесь конечно же возможны. «Почти» – потому, что у него есть несколько четверостиший-подсказок, дающих прямые расшифровки.

Здесь мы коснемся лишь верхнего пласта его символики. Некоторые важные символы Хайяма, как «спящие», «мудрецы» и т. п., выше были уже рассмотрены, и теперь мы сосредоточим внимание на центральном символе Хайяма: ВИНО.

О. Румер был не очень-то прав, когда писал в предисловии к своим переводам: *«Доминирующий мотив четверостиший, это – призыв не предаваться бесплодным бредням умозрения, а насладиться, пока не пришла смерть, всеми радостями жизни, символ которых для Омара – запрещенное Кораном вино»*²². Однако, как мы уже видели, далеко не любые радости жизни приветствует Хайям («За блестками не рвись!»), а «бредни умозрения», сиречь философское и научное осмысление мира, вообще были главным и любимым занятием его.

Далее. О. Румер явно имел в виду вино как таковое, соответственно звучат и его переводы; и слово «символ» он применил как синоним выражения «яркий представитель», а не в смысле шифрующего знака. Между тем «вино» у Хайяма именно элемент шифра, причем маскирующий несколько разных смыслов. Многозначность терминов естественна для условного языка, находящегося только в стадии становления. Вот основные из этих смыслов:

1) «вино» – то лучшее в жизни, чем можно усладить свой дух, не увлекаясь «ложными ценностями»: молодость и любовь, весна и цветение садов, музыка и песни; зрелость и творчество, научное познание мира и общение с друзьями; старость и мудрость, афористичные стихи и умный спор. Иными словами – истинные ценности Бытия. Иногда это «чистое», «прозрачное вино», «сок лоз», иногда с конкретизацией: «любовное вино», «вино познания». Главная эмоция, сопровождающая его, – радость жизни, веселье (см. № 624 – пример авторской расшифровки своих терминов). Именно на это «вино» и возложена в учении Хайяма основная роль в пробуждении «спящих», в приобщении к «мудрецам».

Кстати, символ «любовь» у Хайяма (если не считать четверостиший суфийского периода) очень близок к этому «вину», с той разницей, что «любовь» – для Сердца, а «вино» – для Духа. Можно сказать, что «любовь» – тот настрой Сердца, при котором оно способно снабжать Дух возвышенными радостями Бытия.

Чтобы помочь Духу пробудиться, Сердце должно радовать его «вином», а для этого предварительно само войти в постоянное состояние «любви». Открытость взгляда, свежесть восприятия, жадная тяга ко всему прекрасному, готовность радоваться и радовать других, но также и сострадать им – вот что означает «любовь»-символ. Она концентрирует в человеке силу, сравнимую с мощью богов (№ 278);

2) «вино» – поток живых страстей и жизненных перипетий; течение времени, замертво валящее всех; оно же часто – «красное», «багряное», «коровое» (№ 668, 1080). Сюда же относятся стихи о «наполнившейся мере» или «чаше», что означает завершение отмеренной человеку жизни.

²² Омар Хайям. Четверостишия / Пер. О. Румера. М., 1938. С. 6.

В этом смысле «вино» порой ассоциируется с человеческой кровью, что особенно красноречиво в строках про багряное вино, пролитое на землю, например:

Ты винный мой кувшин расколотил, Господь!
Из радости изгнал и дверь забил, Господь!
Багряную струю небрежно пролил наземь!..
Да чтоб мне землю есть! – Ты пьяным был, Господь?!

Маленькое отступление. Это четверостишие часто переводили на русский язык, однако без символических намеков, как реалистический эпизод, и тому есть две причины. Одна из них – сопровождающая это рубаи легенда, пересказанная, в частности, А. Болотниковым²³ так:

«...Резкий порыв ветра задул свечу и опрокинул кувшин с вином, неосторожно поставленный на край террасы. Вино погубило. Рассердившийся философ не замедлил пустить ядовитую стрелу по адресу Всевышнего:

Кувшин с вином душистым мне ты разбил, Господь!
Дверь радости и счастья мне ты закрыл, Господь!
Ты по земле, о Боже, разлил мое вино...
Карай меня! Но пьяным не ты ли был, Господь?

Произнеся это богохульство, Хайям увидел в зеркале, что его лицо почернело, как уголь. То было наказание небес. Но поэт тут же составил следующее, не более лестное по отношению к Богу, четверостишие:

Но кто же из живущих мог не грешить, скажи?
А если был безгрешный, как мог он жить, скажи?
Я сделал зло, за это ты злом же мне воздал,
И разницу меж нами кто б мог открыть, скажи?»

Естественно, переводчику трудно избавиться от гипноза этой фантастической, но очень зримой сцены.

Вторая причина – в том, что Хайям часто прячет суть под обыденным смыслом идиом и ходульных выражений. Нужно обращаться к первоисходным значениям слов. Например, Хайям пишет о людях, через века взошедших травой, и звучит у него избитый оборот, привычно переводимый так: «Зачем топчешь траву?» Однако поэтический ход автора станет понятен, только если переводить дословно, извлекая из идиомы суть, которую даже не каждый персидский читатель заметит: «Над головой травы зачем заносишь ногу?!»

Так и здесь. «*Да будь я проклят, может, Ты пьян, о Господи?!*» – таков подстрочный перевод последней строки с привлечением русского эквивалента для звучащего в оригинале проклятия. Но дословно-то оно таково: «*Земля у меня во рту!*» Как у покойника!.. Это потрясающе и заставляет всмотреться пристальней. Вино – алое. Как кровь. Пролито – на землю. И даже такая незначительная деталь начинает работать: не «кувшин с вином», а «*кувшин винный мой Ты разбил*». И становится ясно, что Хайям негодует на Бога за будущее убийство свое (описанное как уже случившееся), а не за такую мелочь, как кувшин вина. Замена при переводе Хайяма обиходного персидского выражения таким русским, которое эквивалентно по основному смыслу, но построено на другом предметном материале (в том числе подмена

²³ Болотников А. Омар Хайям / Стих. пер. Л. Некоры // Восток. М.; Л., 1935. Вып. 2.

пословиц), порой утаивает даже от самого переводчика сокровенную суть четверостиший. Что уж говорить о читателе;

3) «горькое» или «мутное вино», «осадок в кубке», «кровь» или «слезы в чаше» – это постепенно накапливающаяся с годами сумма тягостных переживаний, душевная усталость; иногда – полоса бедствий либо же гнет старости (№ 1051).

Антонимом «горького вина» является «виноград», «виноградный сок» – символ чистой юности, полной радужных надежд и благих устремлений:

Не только в пятницу не перестану пить,
Горчайшее вино и в дни поста мне пить.
Но я-то чистый сок в бочонок лил!.. Всевышний,
Не делай горьким сок! – тогда не стану пить.

Опять четверостишие с двойным дном. На поверхности – упрямство пьяницы, грешащего и в святую субботу, и в пост, «научное» оправдание пьянства тем, что Господь сам же превращает в вино, в несимволическую «горечь» залитый в бочонок виноградный сок: человек-то в этот загадочный процесс не вмешивается. А в глубине: никакое не пьянство, а горести, сплошные горести жизни, которых конечно же не избежать ни в пятницу, ни в дни поста, – неуклонное разрушение прежних юношеских надежд;

4) «вином» обозначается в некоторых текстах и собственное хайямовское учение (№ 417).

Встречаются и другие применения слова «вино» не в прямом смысле, но уже обычно с определениями, как «вино забвенья» и т. п.

И лишь после этого, наконец, названное О. Румером:

5) **вино** как таковое, привлеченное Хайямом в союзники именно за то, что оно запрещено шариатом. И в этом случае «вину» сопутствуют уже не слова-символы, а слова-персонажи: «гуляки», «распутники» и проч., – разыгрывающие настолько блистательный фарс, что и самый законопослушный мусульманин увлечется им, а увлекшись, не заметит, как с помощью бесшабашно-хмельных словес Хайям с трезвой осторожностью, по капле вливает в его ум и душу свой едкий скепсис, который постепенно разъедает гипноз ислама и подготавливает к восприятию иных, гораздо более крамольных страниц хайямовского учения.

Причуды фарса

Спектакль условных масок тем богаче и интереснее, за событиями на сцене тем яснее видны перипетии реальной жизни, чем лучше подобраны персонажи. Старая прелестная поэтическая игра, одна и та же во все века и у всех народов. Между тем среди поэтов-переводчиков, а благодаря им и среди читателей многие полагают, что Хайям искренне воспеваает вино и превозносит пьянство. Впрочем, наличие таких читателей свидетельствует: спектакль в театре масок удался на славу.

Персонажи ведут себя соответственно маскам. Вино и шариат несовместимы? Тем хуже для шариата! Впрочем, поначалу-то герой фарса пытается подчиняться запретам, но...

Можно предложить читателю нечто вроде автобиографии морально неустойчивого обывателя, выполненной сатирическим пером Хайяма. Для этого последовательно, не пропуская, прочтите четверостишия № 655, 340, 523, 611, 778, 648, 564, 561 и 566. Какая головокружительная пропасть грехопадения! Но обратите внимание, как уже в этих шутовских текстах Хайям представляет в смешном виде не столько своего героя, вначале чуть оступившегося, а в итоге пропившегося насквозь, сколько запреты шариата, а порой вкрапляет в его самые разудалые монологи – намеки на самые серьезные свои мысли: «Возня добра и зла давно постыла мне». Или «Нет веры, нет судьбы, местечка нет в раю». Да ведь это в чистом виде хайямовская программа: преодолеем гипноз мусульманской веры – перестанем надеяться на рай – уйдем из-под власти судьбы.

Теперь поэту остается чуть отклониться в сторону и повести за собой увлекшегося слушателя прочь из фарса, ближе к своему учению. И тот уже легче воспримет пренебрежение раем и геенной, гуриями и чертями (№ 689), поверит, что есть средство обмануть судьбу (№ 413), отстранит Коран (№ 518), спокойней отнесется к мысли о невнимании к нему Творца (№ 501) – и, наконец, доверчиво воспримет Хайяма и его учеников не более чем как еще одну секту в исламе, в которую почему бы и не вступить (№ 761)?

Теперь завербованного слушателя Хайям понемногу начнет приобщать к сути своего учения, и если вдруг проболтается, что оно стоит вне мусульманства, что ж, новичку и на это надо когда-нибудь намекнуть (№ 559).

А потом ученик убедится, что кубок хайямовского «вина» действительно несет ему благородный душевный покой как избавление от суеты, от погони за иллюзиями и ложными ценностями Бытия; причем мудрость этого покоя настолько далека от мудрости молящихся Богу, что совместить их нельзя, можно только выбрать одно из двух (№ 1180).

Согласитесь: не случайно почти все эти четверостишия звучат как экспромты из диалога. Отчетливо видится, как остроумными стихотворными аргументами поэт подталкивает к нужным выводам сомневающегося собеседника.

Будь весел!

Ну, а какова же стратегия и тактика Хайяма для избавления от власти небес, для направления человечества к будущему счастью – каков же тот универсальный метод?

Его рецепт до гениального прост и звучит чуть ли не из четверостишия в четверостишие: «Будь весел!» Поначалу это воспринимается как обычное присловье перед застольными тостами (потому и переводят эти слова часто как «пей вино!», полагая, что у Хайяма это одно и то же). Но постепенно настораживает: едва ли стоит легковесно относиться к формуле, которую он внушает нам так настойчиво. Внимательно приглядевшись, обнаруживаем: она тесно связана с намеками на промашки небес. И становится ясно вот что.

Как человек может узнать про момент, когда диктат небес ослаб, когда смертный сам влияет на свою будущую судьбу? Никак! И – случайным образом – способен в этот момент повернуть свое будущее не только в лучшую, но и в худшую сторону. Скорей всего, это зависит от душевного настроения: уныние резко кувырнет вниз (см. № 785 – о «лишних горестях», которые могут наслать небеса!), бодрость улучшит судьбу. Потому-то, хотя небеса и обветшали, с работой своей они пока справляются успешно: случайные отклонения в ту и другую сторону взаимно компенсируются. И так будет до тех пор, пока люди не объединятся в заговоре против небес, не начнут действовать сообща – по рецепту Хайяма.

А рецепт исключительно прост. Поскольку промашки небес неосязаемы, остается одно: все время пребывать в положительном душевном настрое. Тогда не ошибешься.

Будь весел, говорит Хайям, ибо мир непостоянен. Будь весел и жизнь на ветер не пускай. Не растрать впустую своего мгновения.

Кстати, о мгновении. Порой Хайям сокрушается: жизнь мимолетна; даже время существования Вселенной – миг. И после этого, когда он то и дело повторяет: не уппусти доставшего тебе мига, не проплачь его, проведи весело! – мы воспринимаем его так, будто он по-прежнему говорит о краткотечной жизни, будто мы имеем дело с постоянной метафорой: жизнь – миг. Однако метафорический язык Хайяма очень подвижен и разнообразен, законсервировавшихся метафор (если не считать слов-символов и «рубиновых уст») у него попросту нет. Часто упоминаемое превращение людей в кувшины у поэта, полагавшего, что человеческая плоть в самом деле становится глиной, – не метафора, а прямой факт. Так, может, и это «мгновенье» у него не метафорично? Каждый раз, когда он призывает не упустить, не погубить слезами свой миг, действительно имеется в виду именно миг – тот самый, редкостный, важнейший, в течение которого небеса могут «проиграть» тебе.

Таким образом, по Хайяму, человечество способно прийти к счастью, если люди согласятся для этого несколько потрудиться: отвлечься от ложных ценностей Бытия и полюбить его истинные ценности («Пей вино!») – чтобы не прожить жизнь впустую; вытравить из своей души грязь и пороки; и, наконец, научиться быть неизменно веселыми, чтобы при каждой оплошности небес добавлять свою толику к совместным общечеловеческим устремлениям к счастью. И когда эти крохотные добавки суммируются в реальную силу, тяжелая инертная повозка нашей Истории постепенно свернет с колеи унылого существования, когда-то предписанного Аллахом, вырвется из-под механической власти небес и устремится на иной, на гордый, светлый и высокий путь. Надо иметь достаточно гражданского мужества, ответственности перед своими прапраправнуками, чтобы оставаться веселыми до самого последнего мгновения:

Когда в погоне Смерть задышит за спиной,
Когда в глазах у нас померкнет мир земной,
Сердца – веселыми швырнем на сито жизни!

И можно пылью стать под уличной метлой.

Хайямовское учение нуждается в дальнейшей расшифровке, и не исключено, что многие важные подсказки таятся в еще не найденных четверостишиях. Но возьмите хотя бы рубаи № 742: сказанное там может читаться как преувеличение, гипербола, однако при сопоставлении с остальными стихами видно, что это – прямой урок, на редкость откровенный текст.

Не только тайным языком

Конечно, не все стихи Хайяма иносказательны и далеко не все посвящены философским проблемам. Есть, например, у него и любовь – не символ, а любовь в первоначальном смысле. Около сотни его четверостиший, разбросанных по разным источникам, мало популярных даже в них (поскольку стиль их далек и от философских, и от сатирических стихов Хайяма и кажется чуждым), в большинстве не переведившихся на русский язык (поскольку порознь они звучат фрагментарно), собранные воедино, сливаются в прекрасный лирический цикл, очень земной и непосредственный. В этих стихах практически нет подтекстов и символов, они – откровенная летопись любви поэта к женщине, внешность которой он традиционно идеализирует, но строптивый характер ее, да и все перипетии этой истории и все оттенки собственных эмоций, не всегда благородно-возвышенных, изображает реалистично, зримо и без прикрас, открываясь нам с неожиданной стороны, как уже не мудрец и ученый, а простой человек, в меру лукавый, остроумный и глубоко страдающий, несчастный человек, которому по возрасту и ослабевшему здоровью как бы и неприлично так по-юношески влюбляться.

Эти стихи, среди прочих похожие на инородные вкрапления, при слиянии их в цикл обнаруживают несомненное стилистическое единство; более того, в них становятся видны сквозные поэтические и бытовые сюжеты.

Именно эти стихи более всего относятся к «блуждающим». Но если не Хайям писал их, то коллективным автором лирического цикла приходится признать десяток различных авторов, мало схожих между собой. Однако весь стиль и сюжетные линии цикла свидетельствуют безусловно, что автор его – кто-то один. Единоличных же претендентов на него, кроме Хайяма, нет. Более того, в стихах этого лирического цикла, несмотря на стилистическую простоту, немало в приемах письма, в характере поэтических тропов, даже в прямых текстовых цитированиях переключек с остальными стихами Хайяма.

Нам остается признать, что Хайям был не только глубоким философом и блистательным сатириком в своих стихах, но и удивительно тонким лириком. И в том, и в другом, и в третьем он выработал особые, точно соответствующие каждому из этих направлений приемы письма. В лирике речь его проста, нежна и откровенна. Взгляните, например, на редчайшее в жанре рубаи явление – прелестные, психологически точные диалоги (№ 938, 939, 940).

Есть у Хайяма и картинки из жизни, то будничной, то праздничной; есть и дивные пейзажи; и стихи по случаю, например, благодарность за присланную кем-то рукопись (№ 439).

Своеобразны и довольно сложны для понимания шуточные стихи, образы которых навеяны научными размышлениями Хайяма. Он пытается ввести читателя в заблуждение, лукаво перемешивая строго научный смысл с обыденным, со здравым смыслом неуча. Например: «Неужто до того окружность уст мала, что центр окружности был вытеснен наружу?!» Это про родинку возле губ (из лирического цикла, № 862). И одновременно – про то, как спотыкается воображение, пытаясь совладать с бесконечно малыми величинами. Взять ту же окружность: трудно отделаться от ощущения, будто она, неограниченно уменьшаясь, должна в конце концов выдавить из себя – наружу – точку собственного центра.

Или такая серия подтасовок. По древнегреческим определениям: линия – это траектория точки. Плоскость – траектория линии. Точкой делится пополам линия, линией – плоскость, и т. д. Хайям шуточно утверждает, что и на этом скромном уровне математика уже сильнее установлений Творца:

Над каплей, плакавшей, собираясь в дальний путь,
Смеялось море: «Вновь вернешься как-нибудь:
От Бога мир – един. Однако не забудь:

„Движение точки“ всё способно разомкнуть!»

Крохотная капля (точней даже, молекула) воды, испарившись, прочерчивает в пространстве линию. Так? Несомненно. Усложняясь хаотическим движением капли, эта линия может с какой-то вероятностью превратиться в плоскость. Так? Вроде бы не исключено. Плоскостью делится (разрезается) трехмерный объем. Наш мир трехмерен. Значит, и весь мир способна разделить эта плоскость. Так? Трудно возразить. Разделить – расчленив – разомкнуть – развалить на части – разметать в разные стороны!.. И это – мир, созданный Творцом как единый – неделимый! Ну сильна капля, ну и сильна математика!

Шутливая логика? Пожалуйста. Небытие – место не-бытия, не-существования. Но Бог ВЕЗДЕ-СУЩ, значит, и в Небытии Он есть, существует. Следовательно, Он обладает свойством инвертировать (обращать в противоположное) воздействие окружающей среды; назовем это божественным свойством «НЕ», благодаря ему Бог в НЕ-бытии НЕ-НЕ-существует. Но если бы и здесь, в Бытии, вездесущий и всемогущий Бог присутствовал с этим свойством «НЕ», Он превратил бы Бытие в Небытие! Остается одно из двух: либо в Бытии Бог отсутствует, либо где-то на внешних границах Бытия Он должен отделять от Себя, оставлять где-то в стороне от Себя Свое свойство «НЕ»:

Коль есть в *Не*-бытии, Ты есмь, *Не*-тленный, – «НЕ».
А здесь?.. Распад, и мрак, и смерть Вселенной – «НЕ».
О, *Не*-зависимый от мест, причин и следствий,
Ты здесь – отсутствуешь? Иль есть – с отменой «НЕ»?

Альтернатива? Как бы не так. Это логическая ловушка. В первом варианте – следствие: Бог не вездесущ! Во втором: есть нечто внешнее по отношению к Богу – значит, Бог не вездесущ! Итак, где ошибка в рассуждениях?

Точно так же как значительную долю стихов о любви, из разряда иносказательных следует, как ни странно, вывести и часть стихов про саки – виночерпия. Суфийская трактовка побуждает видеть в виночерпии то религиозного наставника, то самого Аллаха. Но те стихи, которые действительно нуждаются с такой интерпретации, чаще всего стилистически далеки от Хайяма, чужеродны. В остальных же стихах, в большинстве своем явных экспромтах по случайным поводам, образ виночерпия настолько реалистичен и индивидуален, что за ним видно вполне конкретное лицо. Перед нами молодой человек («сынок»), благоговейно относящийся к группе ученых, посещающих его кабачок. Такое могло быть, видимо, только в период работы Хайяма в обсерватории, в годы, когда и всеильный визирь, и всемогущий шах относились к шариату не слишком ревностно, устраивали царские пиры, а Хайям, забавляясь, писал для них трактат о свойствах вина (он сохранился). Так что и в реальных кабачках, очевидно, Хайям бывал, и в реальных застольях участвовал, но конечно же не в таких фантастически безудержных, какие живописуются им в фарсовых четверостишиях.

Виночерпий медлителен, его часто приходится подгонять, порой даже высмеивать в стихах за нерасторопность. Принеся вино, юноша подсаживается к почетным клиентам и завязывает беседы на ученые темы. Заметим, его не интересуют ни астрономия, ни астрология, ни медицина. У него один конек: философия. Четыре стихии, Семь небес, расположение рая, возмездие за грехи... Его наивная болтовня про «Четыре, и Семь, и Восемь» тоже порой служит предметом насмешек Хайяма (например, № 763).

Он отвлекает простоватого юношу, начиная приписывать различным сортам вина сказочные свойства: вот, мол, вино, дарящее бессмертие, а это – возвращающее молодость, и так далее. Такие абсурдно-глубокомысленные пассажи, кстати, напоминают некоторые места из шуточного трактата Хайяма «Науруз-намэ», особенно главу про поиск кладов. Виночерпию

нравится эта игра, и позже Хайям – стихами – заказывает для своих друзей то или иное вино, пользуясь придуманными раньше причудливыми описаниями их свойств, как бы проверяя память виночерпия. Следы этой игры можно найти в экспромтах Хайяма.

Несмотря на свою профессию, виночерпий набожен. Особенно ярко сказалось это после смерти его отца, от которого молодой человек и унаследовал кабачок. Хайям нисколько не щадит его горя, едко насмехаясь над религиозными стенаниями (№ 748, 767). И, похоже, помогает.

По простоте своей саки падок на лесть, даже самую беспардонную, какой не стерпел бы и привычный ко всему султан. И Хайям, пользуясь этим, восхваляет виночерпия, демонстрируя на нем – по сути-то мальчишке, на которого всякий пропойца покрикивает, – чудеса в искусстве лести (№ 508, 755 и др.). В самом деле, не султана же восхвалять!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.